



**КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ**

**ЛЬЮИС**

**НАСТИГНУТ РАДОСТЬЮ  
ИССЛЕДУЯ ГОРЕ**

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

**Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А**

Эксклюзивная классика (АСТ)

Клайв Льюис

**Настигнут радостью.  
Исследуя горе**

«Издательство АСТ»

1955, 1961

УДК 821.111-312.4

ББК 84(4Вел)-44

## **Льюис К. С.**

Настигнут радостью. Исследуя горе / К. С. Льюис —  
«Издательство АСТ», 1955, 1961 — (Эксклюзивная классика  
(АСТ))

ISBN 978-5-17-149598-5

«Настигнут радостью» и «Исследуя горе» – очень глубокие личные произведения Льюиса, которые были написаны им в надежде, что его опыт станет путеводным маяком для тех, кто заблудился или отчаялся. «Суровость Его добрее, чем наша мягкость, и, принуждая нас, Он дарует нам свободу». Эта истина открылась Льюису спустя долгие годы яростного атеизма. Полагая, что его опыт может быть кому-то полезным, он решил написать краткий, но «удручающе откровенный» очерк своей жизни, останавливаясь на знаменательных событиях, которые привели его от полного отрицания к простому и ясному пониманию Бога. Второе произведение сборника, «Исследуя горе», – надрывающий душу, неподдельной, исповедальной искренности дневник, который автор вел после трагической гибели любимой жены, – дневник человека, нашедшего в себе мужество исследовать свою скорбь и сделать ее источником силы. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-312.4

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-149598-5

© Льюис К. С., 1955, 1961

© Издательство АСТ, 1955, 1961

## Содержание

Настигнут радостью[1]	7
Предисловие	7
I. Первые годы	8
II. Концентрационный лагерь	16
III. Маунтбрэкен и Кэмпбелл	24
IV. Я становлюсь вольнодумцем	29
V. Возрождение	35
Конец ознакомительного фрагмента.	39

**Клайв Стейплз Льюис**  
**Настигнут радостью**  
**Исследуя горе**

C. S. Lewis

SURPRISED BY JOY

A GRIEF OBSERVED

© C. S. Lewis Pte Ltd., 1947, 1955

© Перевод. С. Лихачева, 2022

© Перевод. Л. Сумм, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

\* \* \*

# Настигнут радостью<sup>1</sup>

## Очерк начала моей жизни

*Посвящается отцу Беде Гриффитсу<sup>2</sup>*

*Настигнут радостью – нетерпелив, как ветер.  
Вордсворт<sup>3</sup>*

### Предисловие

Эта книга написана отчасти в ответ на вопросы о том, как я пришел от атеизма к христианству, отчасти же для того, чтобы исправить некоторые неверные мнения. Окажется ли она столь же важной для читателя, как для меня самого, зависит от того, приобщен ли читатель к тому, что я назвал «Радостью». Даже если этот опыт достаточно распространен, мне кажется, он заслуживает более подробного изучения, и я отваживаюсь писать о нем, поскольку не раз убеждался: стоит человеку упомянуть о самых сокровенных и любимых переживаниях, и непременно найдется хотя бы один слушатель, который откликнется: «Как! Неужели и вы тоже?.. Я-то думал, я один такой».

Книга излагает историю моего обращения; это не автобиография и уж ни в коем случае не «Исповедь», как у Августина, тем более как у Руссо. Чем дальше продвигается повествование, тем очевиднее оно расходится с «нормальной» автобиографией: в первых главах сеть раскинута как можно шире, чтобы к тому моменту, когда наступит духовный кризис, читатель уже знал, каким человеком сделали меня мое детство и отрочество. Завершив «фундамент», я перехожу прямо к теме, опуская все факты (сколь угодно важные для обычной биографии), которые не относятся к ней. Невелика потеря: в любой известной мне автобиографии интереснее всего главы, посвященные первым годам жизни. Боюсь, что мой рассказ выйдет удручающе личным; ничего подобного я прежде не писал и, скорее всего, не стану писать и впредь. Я постарался выстроить уже первую главу так, чтобы читатели, которым подобное чтение противопоказано, поняли сразу, во что их втягивают, закрыли книгу и не тратили время понапрасну.

---

<sup>1</sup> © Перевод Л. Сумм, 2000, 2021.

<sup>2</sup> Беда Гриффитс (в миру Алан Ричард Гриффитс, 1906–1993) – ученик и друг Льюиса, монах-бенедиктинец, зачинатель диалога между христианством и индуизмом, многие годы провел в Индии, в ашраме. – *Здесь и далее, кроме отдельно оговоренных случаев, примеч. пер.*

<sup>3</sup> Уильям Вордсворт (1770–1850) – английский поэт-романтик. Стихотворение обращено к умершей дочери.

## І. Первые годы

*Вы счастливы, но на короткий срок.*

*Мильтон<sup>4</sup>*

Я родился зимой 1898-го в Белфасте, мой отец – юрист, мать – дочь священника. У моих родителей было только двое детей (оба – мальчики), причем я почти на три года младше брата. В нас соединились два очень разных рода. Мой отец первым в своей семье получил высшее образование: его дед был фермером в Уэльсе; его отец, самоучка, в молодости работал на заводе, потом эмигрировал в Ирландию и к концу жизни стал совладельцем фирмы «Макилвейн и Льюис, Изготовители паровых котлов, инженеры и строители пароходов». Моя мать, урожденная Гамильтон, принадлежала к роду священников, юристов и морских офицеров; ее предки со стороны матери, Уоррены, гордились происхождением от нормандского рыцаря, погребенного в Баттлском монастыре<sup>5</sup>. Столь же разными, как и происхождение, были и характеры моих родителей. Родня отца – подлинные валлийцы, сентиментальные, страстные, склонные к риторике, легко поддающиеся и гневу, и любви, они много смеялись, много плакали и совсем не умели быть счастливыми. Гамильтоны – более сдержанная порода, они ироничны, проницательны и в высшей степени одарены способностью к счастью; они направляются к нему напрямиком, как опытный путешественник к лучшему месту в вагоне. С ранних лет я чувствовал огромную разницу между веселой и ровной лаской мамы и вечными приливами и отливами в настроениях отца. Пожалуй, прежде чем я сумел подобрать этому определение, во мне уже закрепилось некое недоверие, даже неприязнь, к эмоциям – я видел, как они неудобны, тревожны и небезопасны.

По тем временам мои родители считались людьми «умными», начитанными. Мама с юности проявляла способности к математике, получила степень бакалавра в Королевском Колледже (Белфаст) и незадолго до смерти сама начала обучать меня французскому и латыни. Она с жадностью набрасывалась на хорошие романы, и я думаю, что доставшиеся мне в наследство тома Толстого и Мередита купила именно она. Вкусы отца заметно отличались от маминих: он увлекался риторикой и в молодости выступал в Англии с политическими речами; будь он «джентльменом с независимыми средствами», он бы, несомненно, избрал политическую карьеру. Если б не донкихотское чувство чести, он бы, пожалуй, мог преуспеть в парламенте, поскольку обладал многими из требовавшихся тогда качеств – внушительной внешностью, звучным голосом, подвижным умом, красноречием и отличной памятью. Отец любил политические романы Троллопа<sup>6</sup>; как я теперь догадываюсь, прослеживая карьеру Финеаса Финна, он тешил собственные желания и мечты. Он увлекался поэзией, риторической и патетической, – из всех пьес Шекспира он предпочитал «Отелло». Ему нравились почти все юмористы, от Диккенса и до У. У. Джейкобса, и сам он был непревзойденным рассказчиком, одним из лучших рассказчиков особого склада – тех, кто поочередно перевоплощается в каждого своего персонажа. Как он радовался, когда ему выпадало посидеть часок-другой с братьями, обмениваясь «байками» (так в нашей семье почему-то называли анекдоты)! Ни отец, ни мама не любили тех книг, которые я предпочитал с того самого момента, как научился выбирать их сам. Их слуша

---

<sup>4</sup> Джон Мильтон. «Потерянный рай», IV, 370. Перевод А. Штейнберга. Эти слова Сатана произносит, взирая на блаженство Адама и Евы в Эдеме.

<sup>5</sup> Battle Abbey, то есть «монастырь битвы», был построен на месте битвы при Гастингсе (1066), в результате которой Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

<sup>6</sup> Энтони Троллоп (1815–1882) – автор «Хроник Барчестера» (Барсетшира), многотомного повествования о жизни провинциальных священников и помещиков, и романов о Финеасе Финне, ирландском члене парламента.

не коснулся зов волшебного рога страны эльфов<sup>7</sup>. В доме не водилось стихов Китса или Шелли, томик Кольриджа, насколько мне известно, никто не раскрывал, так что если я вырос романтиком, мои родители за это ответственности не несут. Правда, отец почитал Теннисона, но как автора «Локсли-холла»; я не услышал из его уст ни строчки из «Лотофагов» или «Смерти Артура». А мама, как мне говорили, и вовсе не любила стихи.

У меня были добрые родители, вкусная еда, садик, где я играл – он казался мне огромным; было и еще два сокровища. Первое – это няня, Лиззи Эндикотт, в которой даже взыскательная детская память не обнаружит изъяна: ничего, кроме доброты, веселья и здравомыслия. Тогда еще не додумались до «ученых бонн», и благодаря Лиззи мы проросли корнями в крестьянство графства Даун и принадлежали таким образом к двум очень разным социальным мирам. Вот почему я с самого начала жизни избавлен от распространенного предрассудка – отождествления манер и сущности. С младенчества я твердо знал, что есть шутки, которыми можно поделиться с Лиззи, но которые совершенно неуместны в гостиной; и столь же твердо я знал, что Лиззи – очень хорошая.

Вторым подарком судьбы я назову брата. Он был тремя годами старше, но никогда не вел себя как «большой», мы рано сделались товарищами, даже союзниками, хотя похожи не были. Это заметно и по нашим первым рисункам (не помню времени, когда мы не рисовали). Из-под кисти брата выходили поезда, корабли, я же (если только не брался ему подражать) создавал то, что мы называли «одетыми зверюшками», то есть человекообразных животных, как в детских книжках. Брат рано перешел от рисования к сочинительству; его первое произведение называлось «Юный раджа». Так он присвоил себе Индию, а моим уделом стала сказочная Зверландия, Страна Зверюшек. От первых шести лет моей жизни, о которых я веду рассказ, рисунков не сохранилось, но я сберег множество картинок, нарисованных ненамного позже. Мне кажется, они подтверждают, что по этой части я был способнее брата: я рано научился изображать движение, мои фигурки бегали и сражались, и с перспективой все в порядке. Но ни у меня, ни у брата не найдется ни единого рисунка, ни единой черты, вдохновленной порывом к красоте, сколь угодно примитивной. Здесь есть юмор, действие, изобретательность, но нет потребности в стройном замысле, и к природе мы равнодушны до слепоты. Деревья торчат, точно клоки шерсти, насаженные на спицы, – можно подумать, мы не видели листьев в том самом саду, где играли ежедневно. Теперь я понимаю, что «чувство прекрасного» вообще обошло стороной наше детство. На стенах нашего дома висели картины, но ни одна из них не привлекала, и, по совести говоря, ни одна и не заслуживала внимания. В окрестностях не было красивых домов, и мы не подозревали, что дом может быть красивым. Мои первые эстетические впечатления (да и можно ли назвать их эстетическими?) не были восприятием формы и страдали неизлечимым романтизмом. Однажды, на заре времен, брат принес в детскую крышку от жестянки из-под печенья, которую он выложил мхом и разукрасил ветками и цветами, превратив то ли в игрушечный садик, то ли в лес. Так я впервые встретился с красотой. Настоящий сад не давал мне того, что дал игрушечный. Только тогда я почувствовал природу – не склад красок и форм, но прохладную, свежую, влажную, изобильную Природу. Вряд ли я понял все это сразу, но в воспоминаниях этот садик стал бесконечно важным, и, пока я живу, даже рай представляется мне похожим на игрушечный сад брата. Еще мы любили «Зеленые горы», то есть приземистую линию холмов Каслри, которую видели из окна детской. Они были не так уж далеко, но для ребенка казались недостижимыми, и, глядя на них, я испытывал то непостижимое стремление (*Sehnsucht*<sup>8</sup>), которое, к добру или худу, превратило меня в рыцаря Голубого Цветка<sup>9</sup> прежде, чем мне сравнялось шесть лет.

---

<sup>7</sup> «Волшебный рог страны эльфов» – аллюзия на стихи Альфреда Теннисона (1809–1892), символ романтизма.

<sup>8</sup> *Sehnsucht* (нем.) – томление, страстное желание, тоска о недостижимом.

<sup>9</sup> Голубой Цветок – один из основных символов немецкого романтизма. Впервые появляется в романе Новалиса «Генрих

Если эстетических впечатлений было мало, то религиозных не было вовсе. Кое-кто из моих читателей решил, что меня воспитали строгие пуритане, – ничего подобного! Меня учили самым обычным вещам, в том числе – повседневным молитвам, и в урочное время водили в церковь. Я воспринимал все это покорно и без малейшего интереса. Моего отца отнюдь нельзя считать образцовым пуританином; более того, с точки зрения Ирландии девятнадцатого века он тяготел скорее к «высокой церкви»<sup>10</sup>. Его отношения с религией, как и с поэзией, полностью противоречат тем, что со временем сложились у меня. Отец с наслаждением впитывал обаяние традиции, древнего языка Библии и молитвенника; у меня этот вкус развился гораздо позднее и с трудом. Зато мало нашлось бы равных отцу по уму и образованию людей, которых столь же мало волновала бы метафизика. Не знаю, во что верила мама. Мое детство никак не отмечено духовным опытом, в нем не было даже пищи для воображения, кроме игрушечного садика и Зеленых холмов. В моей памяти ранние годы сохранились как пора бытового, заурядного, прозаического счастья, они не пронзают меня мучительной ностальгией, с какой я вспоминаю куда менее благополучное отрочество. Тоскую я не о надежном счастье, а о внезапных мгновениях радости.

В том детском блаженстве был лишь один темный уголок. С младенчества меня мучили страшные сны. Это часто бывает с детьми, и все же странно, что в детстве, когда тебя лелеют и оберегают, может открыться окошко в ад. Я различал два вида кошмаров – с призраками и с насекомыми. Особенно пугали насекомые, в те годы я предпочел бы повстречать привидение, чем тарантула. Даже сегодня этот страх кажется мне вполне естественным и оправданным. Оуэн Барфилд<sup>11</sup> как-то сказал мне: «Насекомые так противны оттого, что у них весь механизм снаружи, словно у французского локомотива». Да, дело именно в *механизме*. Эти угловатые сочленения, дерганый шаг, скрипучий металлический скрежет похожи на оживающую машину или, хуже того, на жизнь, выродившуюся в механику. К тому же муравейник и пчелиный рой воплощают два наиболее опасных, по мнению многих, состояния и для нашего вида – власть коллектива и власть женщин. Стоит отметить один случай, связанный с этой фобией. Много лет спустя, уже подростком, я прочел книгу Леббока «Муравьи, пчелы и осы» и на какое-то время всерьез, по-научному заинтересовался насекомыми. Другие занятия вскоре отвлекли меня, но за «энтомологический» период я практически избавился от своих страхов. Думаю, что подлинный, объективный интерес и должен иметь такое действие.

Наверное, психологи не согласятся признать, что причиной кошмаров была отвратительная картинка в детской книжке, но так считали в те простодушные времена. Мальчик-с-пальчик забрался на поганку, а снизу ему грозил жук-олень, заметно превосходивший его ростом. Это страшно само по себе, но хуже другое: рога у жука были сделаны из полосок картона, отделившихся от страницы и поднимавшихся вертикально вверх. С помощью какого-то дьявольского устройства на обратной стороне картинки рога приводились в движение, они распахивались и защелкивались, точно ножницы – клип-клап-клип! Я и сейчас, когда пишу, вижу их перед собой. Не понимаю, как могла наша разумная мама допустить в детскую такую гадость. А может быть (сомнение вдруг охватило меня), сама эта книга – порождение моего кошмара? Нет, не думаю.

В 1905 году, когда мне исполнилось семь лет, произошла первая великая перемена в моей жизни: мы переехали в Новый дом. Отец, по-видимому, преуспевал и потому решил покинуть коттедж, в котором я родился, и выстроить настоящий дом подальше от города. «Новый дом», как мы долго его называли, был очень велик даже по моим нынешним меркам; ребенку он казался чуть ли не целым городом. Надуть отца ничего не стоило, и строители бессовестно его

---

фон Офтердингер» (1800). Ср. у Гумилева: «И, может быть, рукою мертвеца/Я лилию добуду голубую».

<sup>10</sup> Высокая церковь – направление англиканского протестантизма, сохраняющее католическую обрядность, в отличие от пуританизма и «низкой церкви», решительно порывающих с католицизмом.

<sup>11</sup> Оуэн Барфилд (1898–1997) – писатель, филолог, друг Льюиса, один из инклингов.

обманывали: канализация никуда не годилась, все камины дымили, в комнатах гулял сквозняк. Но все это детям не важно; зато переезд расширил фон нашей жизни. Новый дом станет одним из главных героев моей истории. Я воспитан его бесконечными коридорами, пустыми, залитыми солнцем комнатами, чердачной тишиной и исследованными в одиночестве закоулками, отдаленным ворчанием кранов и труб, ветром, гудящим под крышей. Все это – и еще книги – составляло мою жизнь. Отец покупал все книги, которые собирался прочесть, и никогда не избавлялся от них. Книги в кабинете, книги в гостиной, книги в гардеробной, книги в два ряда в огромном шкафу на лестнице, книги в спальне, стопки книг мне по плечо, сложенные на чердаке возле водяного бака; всевозможные книги, след преходящих увлечений моих родителей, пригодные для чтения и непригодные, подходящие для ребенка и абсолютно недопустимые. Мне ничего не запрещали. Бесконечными дождливыми вечерами я снимал с полок том за томом в полной уверенности, что найду нечто новое; так человек, гуляющий в поле, непременно наткнется на новый цветок. Хотел бы я знать, где же таились эти книги до нашего переезда в Новый дом? Я впервые задумался над этой загадкой сейчас, когда пишу, и ответ мне неизвестен.

За порогом Нового дома открывался тот самый вид, ради которого, конечно, отец и выбрал это место. Открывая дверь, мы видели бескрайние поля, простиравшиеся к Белфастскому заливу, и далее – вытянутую цепь прибрежных гор: Дивис, Колин, Кейв Хилл. В те далекие дни Британия была всемирным импортером и экспортером, и гавань постоянно наполнялась кораблями. Порт притягивал нас, мальчишек, в особенности брата, и даже сейчас ночной гудок парохода возвращает меня в детство. Позади дома виднелись Голливудские холмы – ниже, зеленее и доступнее холмов Антрима, но тогда они меня не интересовали. Меня манил только северо-запад, бесконечный летний закат, когда солнце уходит за голубые хребты и грачи тянутся к дому. В том пейзаже и свершились первые роковые перемены.

Прежде всего брата отправили в закрытую английскую школу, и я на большую часть года остался один. Я хорошо помню свой восторг, когда брат возвращался домой, хотя не помню, как горевал при его отъезде. Изменения в жизни брата никак не отразились на нашей дружбе. Меня пока учили дома: мама – французскому и латыни, всему остальному – прекрасная гувернантка Энни Харпер. Почему-то я боялся этой кроткой маленькой женщины; теперь я вижу, что был к ней несправедлив. Энни была пресвитерианкой<sup>12</sup>, и от нее, между диктантом и арифметической задачей, я услышал проповедь, впервые открывшую мне реальность иного мира. Тогда это значило для меня гораздо меньше, чем события повседневной жизни, которая, судя по моим воспоминаниям, становилась все более уединенной. Возможностей для общения хватало – родители, живший вместе с нами дедушка Льюис (он, правда, преждевременно составил и оглох), служанки и старый попивающий садовник. Кажется, я сделался невыносимым болтуном. Но я всегда мог обрести уединение в доме или в саду: к тому времени я научился читать и писать, и мне было чем заняться.

Писать меня побудила неуклюжесть, от которой я всегда страдал. Мы с братом унаследовали от отца физический изъян: у всех нас большой палец состоит только из одного сустава. Нижний сустав (тот, что ближе к ладони) вроде бы есть, но это фикция, согнуть его мы не можем. Во всяком случае, по той или иной причине, я от рождения не способен ничего делать руками. Я хорошо управлялся с ручкой и карандашом и до сих пор не хуже других повязываю галстук, но с запонкой мне не сладить, не по руке мне и любой инструмент, клюшка, пистолет или штопор. Именно это побудило меня писать. Я мечтал создавать вещи, корабли, машины, дома. Я перепортил все ножницы в доме, извел пропасть картона и в слезах признал свое поражение. Оставалось одно – сочинять истории. Я и не подозревал, в какой волшебный мир я

---

<sup>12</sup> Пресвитерианство – ответвление протестантизма. Пресвитериане отказались от церковной иерархии и первостепенное значение придают благодати, для которой требуется исключительно вера.

вхожу: ведь со сказочным замком можно сделать много такого, чего никогда не добьешься от картонного.

Вскоре я получил в собственность одну из мансард и там оборудовал себе «кабинет», повесив на стены свои рисунки и иллюстрации из пестрых рождественских журналов. Туда я перенес чернильницу и ручку, тетради и краски. Здесь —

Ужели есть счастливейший удел,  
Чем наслажденье радостным досугом?<sup>13</sup>

— здесь я с величайшим наслаждением написал и раскрасил свои первые книги. В них я старался совместить оба своих литературных пристрастия, «одетых зверюшек» и «рыцарей в доспехах», и потому писал об отважных мышатах и кроликах, которые выезжали верхом, во всеоружии, на смертный бой не с великанами, но с котами. Однако во мне уже пробудился дух систематизатора, в свое время заставивший Троллопа так тщательно обустраивать Барчестер. На каникулах мы с братом играли в современную Страну Зверюшек, поскольку брату требовались поезда и пароходы. А значит, средневековая страна, о которой я писал, была той же самой, но в иное, древнее время, и эти два периода требовалось скрупулезно соединить. Так, от литературы перейдя к историографии, я принялся за подробную летопись Зверландии. Сохранилось несколько ранних вариантов этого поучительного сочинения, но довести труд до конца я так и не сумел; нелегко заполнить событиями столетия, когда единственный источник — твоя фантазия. Зато одной подробностью своей работы я горжусь до сих пор: все похождения рыцарей, описанные в моих романах, я лишь слегка затрагивал, предупреждая читателей, что это, скорее всего, «просто легенда». Бог весть откуда я узнал, что историк должен критически относиться к эпосу. От истории до географии один шаг. Вскоре появилась карта Зверландии, вернее, несколько достаточно последовательных карт. Оставалось совместить эту страну с Индией моего брата: для этого мы решили перенести Индию с ее обычного места, превратив ее в остров, северное побережье которого оказалось «позади Гималаев». Брат тут же наладил пароходное сообщение между нашими странами. Мы создали целый мир, разрисовали его всеми красками из моей коробки и принялись населять принадлежавшую нам часть взаимодействующими персонажами.

Из прочитанных в то время книг я запомнил почти все, но отнюдь не все полюбил. «Сэр Найджел» Конан Дойла впервые познакомил меня с «рыцарями в доспехах», но я не стал бы перечитывать эту книгу и уж конечно не взялся бы за «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена, хотя тогда только эта книга рассказывала хоть что-то о Круглом столе. Я, к счастью, искал в ней романтику и рыцарей, совершенно не замечая дешевой насмешки над ними. Гораздо лучше, чем обе эти книги, была трилогия Э. Несбит «Пятеро детей и Оно», «Феникс и ковер», «История с амулетом». Особенно дорог мне «Амулет»; благодаря ему я впервые ощутил древность, нечто «в глубокой бездне времени»<sup>14</sup>. Эти книги я до сих пор перечитываю с наслаждением. Очень любил я полное издание «Гулливера» с массой картинок; мог целыми днями перебирать старые подшивки «Панча» в кабинете отца. Тенниел<sup>15</sup>, как и я, любил рисовать зверюшек в одежде — британского льва, русского медведя, египетского крокодила и прочих, а небрежное изображение флоры приятно совпадало с моими собственными недостатками. Позже появились книги Беатрис Поттер, и с ними наконец в жизнь вошла красота.

---

<sup>13</sup> Цитата из стихотворения Эдмунда Спенсера «Судьба бабочки» (бабочка, подобно басенной стрекозе, горько расплывается за свое легкомысленное блаженство).

<sup>14</sup> Хрестоматийная цитата из «Бури» Шекспира (Акт I).

<sup>15</sup> Джон Тенниел (1820–1914) — автор карикатур в «Панче», иллюстратор «Алисы в Стране чудес».

Совершенно очевидно, что в шесть, семь, восемь лет я жил исключительно воображением; по крайней мере, именно опыт, связанный с воображением, кажется мне самым важным для той поры. Не стоит говорить, к примеру, о поездке в Нормандию: хотя я прекрасно ее помню, я и без нее был бы точно таким же. Однако «воображение» – понятие расплывчатое, нужно сразу его уточнить. «Воображением» именуют и грезы наяву, фантазии, утоляющие несбывшиеся мечты. Все это мне более чем знакомо. Я часто воображал себя таким молодцом и хватом, но Страна Зверюшек – совсем другое дело. В этом смысле ее нельзя назвать фантазией хотя бы потому, что я в ней не жил, я был ее создателем, а не персонажем, дожидаящимся, когда его впустят в сюжет. Творчество существенно отличается от «грез». Если вы не видите разницы, значит, вы не знаете одного из «воображений»; тот, кто знает, – поймет. В мечтах я превращался в хлыща; рисуя карту и сочиняя хронику, я становился писателем. Заметьте, писателем, а не поэтом! Созданный мной мир был (по крайней мере, для меня) очень интересен, полон веселья и шума, событий и характеров, а вот романтики в нем не было. Этот мир был на удивление прозаичен<sup>16</sup>. Если употреблять слово «воображение» в высшем, поэтическом смысле, выходит, что в моем мире воображения не было. Там было иное, о чем я сейчас и пытаюсь рассказать. Об этом «ином» куда лучше поведали Траэри и Вордсворт, но каждый рассказывает свою историю.

Прежде всего пришло воспоминание о воспоминании. Был летний день, я стоял в саду возле цветущего смородинового куста, и внезапно, толчком, без предупреждения, из глубины не лет, а столетий, во мне поднялось воспоминание о том, прежнем утре в Старом доме, когда брат вошел в детскую с игрушечным садом в руках. Не могу найти слова, чтобы выразить это чувство. Ближе всего «блаженствовал безмерно» у Мильтона<sup>17</sup>, причем «безмерно» следует понимать во всей полноте исконного значения слова. Конечно, я чего-то хотел, но чего? Ведь я тосковал не по выложенной мхом коробке из-под печенья и даже не по безвозвратному прошлому (хотя и по нему тоже). Ἰού' λίαν λωβῶ<sup>18</sup> – прежде чем я понял свое желание, оно исчезло, миг миновал, мир вновь сделался обычным. Если что и нарушало покой, то лишь тоска по исчезнувшей тоске. Это длилось миг, и в каком-то смысле всё, что случилось со мной раньше, не имеет в сравнении с этим никакого значения.

Второе мгновение пришло из книги «Бельчонок Орешкинс». Хотя я любил все сказки Беатрис Поттер, они казались просто увлекательными, а в этой меня тревожило, меня потрясло то, что я могу назвать лишь Образом Осени. Может быть, нелепо влюбляться в какое-то время года, но мое чувство было сродни влюбленности; и, как и в первом случае, я испытывал острое желание. Вновь и вновь возвращался я к книге не для того, чтобы удовлетворить желание (это и невозможно – кому дано обладать осенью?), но чтобы его оживить. Здесь снова были блаженное изумление и ощущение бесконечности. Это совершенно не походило на обычную жизнь и нормальные удовольствия. Как теперь говорят, это – из другого измерения.

Третьим мгновением радости я обязан поэзии. Я увлекся «Сагой о короле Олафе» Лонгфелло, но любил в ней только сюжет и мощный ритм. Однажды, бесцельно перелистывая страницы, я наткнулся на нерифмованный перевод «Драпы» Тегнера<sup>19</sup> и испытал совершенно иное наслаждение, будто меня окликнул голос из неведомой страны:

Я слышал голос, восклицавший:  
Бальдр прекрасный  
Умер, умер!..

---

<sup>16</sup> Для тех, кто читал мои детские книги, скажу, что Зверландия не имела ничего общего с Нарнией, за исключением разве очеловеченных зверюшек. Зверландия принципиально лишена даже намека на волшебство. – *Примеч. авт.*

<sup>17</sup> Джон Милтон. «Потерянный рай», I, 84.

<sup>18</sup> О, я желаю слишком многого (*древнегреч.*).

<sup>19</sup> В действительности это не перевод, а сочиненный самим Лонгфелло плач о смерти шведского поэта Эсайаса Тегнера.

Я ничего не знал о Бальдре, но в тот же миг вознесся в бескрайнее пространство северных небес, я мучительно жаждал чего-то неведомого, неопишуемого – беспредельной шири, сурового, бледного, дальнего холода. В тот же миг я утратил это желание и тосковал уже только по нему.

Читатель, которому показались не очень интересными эти три эпизода, должен отложить книгу – такова истинная история моей жизни. Для тех же, кто готов читать дальше, я укажу главное в этих трех событиях – неудовлетворенное желание, которое само по себе желаннее любого удовлетворения. Я назвал это чувство «Радостью», и это – научный термин, который нельзя отождествлять со счастьем и удовольствием. У моей Радости есть с ними одно, и только одно, общее свойство – каждый, кто их ощущал, хочет их вернуть. Сама по себе Радость скорее похожа на особую печаль или даже скорбь, но это именно те муки, которых мы жаждем. Несомненно, каждый, кто их знает, не променял бы их на все удовольствия мира. Правда, удовольствия обычно в нашем распоряжении; Радость нам неподвластна.

Не могу с точностью сказать, какие из описанных мной событий произошли до, а какие – после великого горя, к рассказу о котором я сейчас приступаю. Наступила ночь, я плохо себя чувствовал и плакал оттого, что у меня болели зубы и голова, а мама не приходила. Не приходила она потому, что заболела сама; в ее комнате собралось множество докторов, по всему дому раздавались голоса и шаги, открывались и захлопывались двери. Это длилось много часов, а потом ко мне пришел плачущий отец и попытался сообщить мне то, что напуганная душа никак не могла постичь. У мамы был рак, он развивался как обычно: операция (в те времена оперировали на дому), мнимое выздоровление, возвращение недуга, нарастающие боли и смерть. Отец так и не оправился от этой утраты.

Я думаю, дети страдают не меньше взрослых, но по-другому. Нас с братом горе постигло еще до того, как мама умерла. Мы теряли ее постепенно, по мере того как она уходила из нашей жизни в объятия сиделок, недуга и морфия, а жизнь превращалась во что-то грозное и чуждое. Дом наполнялся непонятными запахами, полуночными звуками, зловещим шепотом. Это несчастье повлекло за собой два последствия, одно – очень печальное, второе – хорошее. Беда разлучила нас не только с матерью, но и с отцом. Говорят, общее горе сближает, но, на мой взгляд, это едва ли может произойти, если несчастье обрушивается на людей совершенно разного возраста. По моему личному опыту, горе и страх взрослых отпугивают, парализуют детей. А может быть, это наша вина; если бы мы были «хорошими детьми», мы могли бы облегчить страдания отца – но мы не сумели. Он никогда не отличался крепкими нервами и не мог сдерживать свои эмоции, а в эти тревожные дни его характер сделался совершенно непредсказуемым, он говорил непоследовательно, поступал несправедливо. Так, по особой жестокости судьбы, за несколько месяцев этот несчастный человек вместе с женой потерял и сыновей. Мы с братом все больше привыкали полагаться только друг на друга, только друг другу доверяли, и это делало жизнь хоть сколько-то выносимой. Кажется, мы (во всяком случае – я) уже научились лгать отцу. Из дома ушло все, что делало его домом; все, кроме братской дружбы. С каждым днем мы сближались (это и есть «хорошее»). Два напуганных мальчика жались друг к другу, пытались отогреться в ледяном мире.

В детстве горе осложняется многими другими муками. Меня привели в спальню, где лежала мама, – «попрощаться», но я увидел не «ее», а «это». На взрослый взгляд она не была безобразной, если бы не то полное безобразие, отсутствие образа, которое и зовется смертью. Скорбь исчезла, остался лишь ужас. Говорят о красоте усопших, но худшее из живых лиц цветет ангельской красой по сравнению с прекраснейшим ликом мертвеца. Все, что было потом – и цветы, и катафалк, и самые похороны, – все вызывало во мне только ужас и отвращение. Я даже попытался объяснить тете, как нелеп траур. Многим взрослым эта речь показалась бы тщеславной и бессердечной, но наша тетья Энни, канадская жена дяди Гаса, была почти так же

ясна и разумна, как мама. Ненависть к суете и внешней стороне похорон, вероятно, укрепила во мне свойство, которое я теперь считаю недостатком, но так и не смог преодолеть: неприязнь ко всему общественному и публичному, угрюмую неспособность к соблюдению формальностей.

Смерть мамы породила во мне то, что некоторые (но не я сам) назвали бы первым религиозным опытом. Когда болезнь признали безнадежной, я вспомнил, чему меня учили: молитва с верою должна исполниться. И вот я принялся волевым усилием вызывать в себе уверенность, что мои молитвы непременно будут услышаны; я действительно поверил, что верю в это. Когда мама все-таки умерла, я стал добиваться чуда. Интересно, что неудача никак не подействовала на меня. Этот прием не сработал, но я уже привык к тому, что не все фокусы удаются, и просто перестал об этом думать. Дело, видимо, в том, что убежденность, которую я возбуждал в себе, не имеет никакого отношения к вере, и потому разочарование не стало «кризисом веры». Я обращался к Богу (как я Его себе представлял) без любви, без почтения, даже без страха. В том чуде, которого я ждал, Бог должен был сыграть роль не Искупителя или Судьи, а роль волшебника, сделав то, что от Него требовалось, и уйти. Мне и в голову не приходило, что та потрясающая близость к Богу, которой я добивался, может иметь какие-то последствия, кроме восстановления status quo. Думаю, такая «вера» часто вспыхивает в детях, и крах ее на них не отражается, как ничего не изменило бы чудо, если бы оно произошло в той форме, в какой представляется ребенку.

Со смертью мамы из нашей жизни ушло надежное счастье, исчезли покой и лад. Оставались забавы и удовольствия, бывали и мгновения Радости, но прежняя безопасность не возвращалась никогда. Уцелели острова; великий материк ушел на дно, подобно Атлантиде.

## II. Концентрационный лагерь

*Счет с помощью цветных палочек  
Педагогическое приложение к «Таймс» от 19 ноября 1954*

Хлоп-хлоп-хлоп... мы едем в коляске по неровной брусчатке Белфаста в сыром полумраке сентябрьского вечера. Все трое – отец, брат и я. 1908 год, я впервые отправляюсь в школу. Все подавлены. Меньше всего обнаруживает свои чувства брат, хотя у него больше причин грустить, ведь он-то знает, что нас ждет, он уже не новичок. Я, вероятно, несколько возбужден, но не очень. Главным образом раздражает отвратительный костюм, в который меня вынудили облачиться. Еще утром, часа два назад, я бегал на воле в шортах, блейзере и сандалиях, а теперь потею и задыхаюсь в плотном темном костюме, итонский воротничок сжимает горло, ноги уже болят в новых ботинках. Бриджи застегиваются пуговицами у колена; каждый вечер, сорок недель в году, в течение многих лет, раздеваясь по вечерам, я буду видеть на своей коже красный отпечаток этих пуговиц. Ужасней всего цилиндр, который сжимает голову, будто железный. Я читал о мальчиках, попадавших в подобную ситуацию и радовавшихся, что они большие, но сам я таких чувств не испытывал. Мой опыт убеждал, что ребенком быть лучше, чем школьником, а школьником – лучше, чем взрослым. Брат на каникулах предпочитал не вспоминать о школе, а для отца, которому я в этом верил, жизнь состояла из тяжелой работы и страха перед разорением. Впадая в соответствующее настроение (что бывало нередко), он восклицал: «Все это кончится работным домом», – и верил себе или, по крайней мере, думал, что верит, и я, принимая все всерьез, начал опасаться взрослой жизни. Надеть на себя школьную форму значило приготовиться к тюремной робе.

Мы приехали в порт, сели на старый рейсовый пароход до Флитвуда, и отец, печально побродив по палубе, попрощался с нами. Он был глубоко взволнован, а я, увы, сконфужен и сосредоточен на себе. Когда отец сошел на берег, мы даже приободрились. Брат принялся показывать мне корабль, рассказал о других судах, стоявших в гавани. Он – сведущий путешественник, многое повидавший человек. Меня охватило приятное возбуждение. Мне нравилось отражение порта и бортовых огней в маслянистой воде, скрип лебедек, теплый запах из люка машинного отделения. Отплываем, ширится черная полоса между нами и берегом, сочленения палубы вибрируют под ногами. Вскоре мы вышли в море и ощутили вкус соли на губах, скопление огней расплывалось вдали. Больше я ничего не помню. Мы уже улеглись, когда поднялся ветер и началась качка. Брата тошнило, я по глупости завидовал ему – ведь он страдал от морской болезни, как настоящий путешественник. Кое-как я сумел вызвать рвоту, но, увы, я оказался – и остался на всю жизнь – хорошим моряком.

Мое первое впечатление от Англии будет, конечно, непонятно англичанину. Мы высадились на берег примерно в шесть утра, но было темно, как в полночь, и мир, в котором мне предстояло жить, сразу вызвал у меня ненависть. Серым утром равнина Ланкашира и впрямь выглядит мрачно, но я сравнил его с берегом Стикса. Странное английское произношение превращало голоса людей в вопли бесов, но страшнее всего был пейзаж между Флитвудом и Юстоном. Даже сейчас эта местность кажется мне самой скучной, самой негостеприимной на всем острове, но для ребенка, всегда жившего у моря, вблизи гор, она была как для юного англичанина – Россия. Плоскость! Однообразие! Миля за милей – бесцветная страна, уводившая прочь от моря, окружавшая, сковывавшая. Все было не так: деревянные ограды вместо каменных стен и изгородей, красные кирпичные фермерские домики вместо белых коттеджей Ирландии; поля чересчур велики, даже копны сена неправильные. Верно говорит «Калевала» – в чужом доме и пол кривой. Позднее я примирился со всем этим, но понадобилось немало лет, чтобы избавиться от вспыхнувшей в тот миг ненависти к Англии.

Мы ехали в маленький городок в Хертфордшире; назовем его Бельзен<sup>20</sup>. Лэм воспевал «Зеленый Хертфордшир», но нам, ирландцам, он казался желтым, плоским и каменистым. Климат Англии столь же отличается от ирландского, как и от континентального. В Бельзене я узнал, что такое «погода»: то жгучий холод, то колючий туман, то одуряющая жара, а то вдруг грозы. Там, глядя в лишенное занавесок окно дортуара, я впервые познал жуткую красоту полной луны.

В школе в то время насчитывалось восемь или девять пансионеров и столько же входящих учеников. Спортивные игры, за исключением бесконечной английской лапты на жесткой спортплощадке, потихоньку вымирали и были заброшены вскоре после моего приезда. Все купание сводилось к еженедельной ванне. Я попал в эту школу в 1908 году, зная начатки латыни, которым меня обучила мать, и вышел из нее в 1910 году с теми же латинскими упражнениями, так и не притронувшись к римским авторам. Главным орудием обучения были часто пускавшиеся в ход трости, висевшие на позеленевшей каминной доске в единственной классной комнате. Учили нас трое: владелец и директор школы (мы прозвали его Стариком), его взрослый сын (Малыш) и вечно сменявшиеся младшие учителя. Один из них не продержался и недели, другого Старик выгнал при учениках, приговаривая, что, если бы сан ему не запрещал, он бы и вовсе спустил его с лестницы. Эта сцена почему-то разыгралась в дортуаре. Все помощники, кроме того, который продержался меньше недели, боялись Старика так же, как и мы. Потом учителей со стороны совсем не стало, и новичков отдали на попечение младшей дочери Старика. К этому времени пансионеров насчитывалось лишь пятеро. Вскоре Старик закрыл школу и принялся исцелять людские души. Я оставался до последнего и покинул судно, когда оно пошло ко дну.

Старик обрек себя на одиночество сильной личности, будто пиратский капитан. Никто в доме не смел держаться с ним на равных; никто, кроме Малыша, не смел даже заговаривать с ним. За едой мы видели всю семью. Сын сидел по правую руку отца, еду мужчинам подавали особо. Менее почетные куски доставались жене хозяина, трем взрослым дочерям (они ели в молчании), помощникам (ели в молчании и они), ученикам (то же самое). Жена никогда не обращалась к Старику по собственной инициативе, однако ей хотя бы разрешалось отвечать ему, а дочери, три трагические фигуры, зимой и летом в одних и тех же поношенных черных платьях, лишь шептали: «Да, папа» или «Нет, папа» – в тех редких случаях, когда отец к ним обращался. Посторонние люди редко переступали порог этого дома. Старик и его сын пили за обедом пиво, этот же напиток предлагался наемному учителю, однако ему следовало отказаться. Лишь один решился попросить пива и получил его. Через минуту Старик поставил его на место, с грозной иронией спросив: «Не угодно ли вам *еще* пива, мистер Н.?» Мистер Н. оказался смельчаком и невозмутимо ответил: «Да, мистер С., я не прочь». Это он не продержался у нас и недели, и для нас, мальчишек, то были тяжелые дни.

Я-то скорее ходил в любимчиках, хотя, честью клянусь, этой позиции не добивался, да и выгоды ее были невелики. Брата он тоже терзал нечасто. У Старика были излюбленные жертвы, и уж они-то никогда не могли ему угодить. Я как сейчас вижу: Старик входит после завтрака в класс, оглядывается и восклицает: «Ага, вот вы где, Рис, скверный мальчишка! Если я не выбьюсь из сил, уж я вам всыплю сегодня». Он не сердился, но и не шутил. Этот крупный мужчина, толстогубый и бородатый, вроде ассирийских владык, отличался невероятной силой и нечистоплотностью. Ныне любят порассуждать о садизме, но я не усматриваю в жестокости Старика признаков сексуального извращения. Уже тогда я догадывался, а сейчас ясно вижу, почему он избирал именно этих мальчиков. Все они недотягивали до определенного социального статуса, у всех сохранялся простонародный выговор. Бедняга П., милейший, честный,

---

<sup>20</sup> Развивая образ «концентрационного лагеря», Льюис дает городу имя, напоминающее название нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

прилежный, дружелюбный, искренне верующий, каждый день получал порку за одну-единственную провинность: он был сыном дантиста. На моих глазах Старик заставил его наклониться в углу классной и принялся избивать, приказывая после каждого удара пробегать комнату из конца в конец. П. перенес столько порок, что не издавал ни звука, лишь под конец истязаний из груди его вырвался вой уже совершенно нечеловеческий. Как бы я хотел забыть хриплый скрежещущий крик, серые лица мальчиков и наше мертвое молчание<sup>21</sup>.

Несмотря на все строгости, мы на удивление мало работали. Может быть, отчасти потому, что наказание сделалось бессмысленным и непредсказуемым, а отчасти и потому, что нас очень странно учили. Можно сказать, Старик не преподавал ничего, кроме геометрии, которую он в самом деле любил. Он собирал класс и принимался задавать вопросы. Если ответ ему не нравился, он медленно и спокойно говорил: «Принесите мою трость. Вижу, она мне понадобится». Когда мальчик запинаясь, Старик колотил тростью по парте и орал: «Думай! Думай! Думай!» И, уже готовясь к экзекуции, бормотал: «Давай, давай, давай!» Разозлившись по-настоящему, он начинал гримасничать, ковырять в ухе и причитать: «Ай-яй-яй». Порой он вскакивал и кружил, точно медведь в балагане. А Малыш, помощник или младшая дочь тем временем шепотом опрашивали за другой партой нас, новичков. Такие «уроки» занимали немного времени; что же делать мальчикам в остальные часы? Старик решил, что меньше всего хлопот они причинят, если усадить их за арифметику. Приходя в класс в девять утра, каждый брал грифельную дощечку и усаживался считать. Потом нас вызывали отвечать, и мы возвращались на свое место, чтобы считать, считать, считать – до бесконечности. Прочие науки и искусства всплывали на часок, словно острова (скалистые и очень опасные),

которые, подобно ожерелью,  
Нагую грудь пучины украшают<sup>22</sup>.

Пучиной был безбрежный океан арифметики. Перед обедом нужно было доложить, сколько задач ты решил. Лгать было опасно, но надзор за нами был слабым, и помощи тоже не предоставляли. Брат (я же говорил, что он успел приобрести жизненный опыт) вскоре нашел правильный выход: каждое утро он совершенно честно предъявлял пять примеров, не уточняя, что это все те же примеры, вчерашние. Интересно, сколько тысяч раз он их прорешал.

Пора остановиться. Я мог бы еще долго описывать Старика, я так и не поведал кое о чем из самого плохого. Но, может быть, сосредотачиваться на этом дурно; во всяком случае, необязательно. Одну хорошую вещь я могу вспомнить и о нем. Как-то раз один ученик, мучимый раскаянием, признался во лжи, в которой никто не мог бы его уличить. Наш монстр расстрогался, похлопал перепуганного мальчишку по спине и проворчал: «Всегда говори правду». Кроме того, хотя он учил жестоко, геометрию он преподавал хорошо. Он пробуждал логику, и эти уроки пригодились мне на всю жизнь. Ему есть одно оправдание: много лет спустя брат повстречал человека, который провел детство по соседству с нашей школой. Этот человек, его родители и, видимо, все соседи считали Старика ненормальным. Быть может, они правы. Кстати, если болезнь начала развиваться у старика незадолго до нашего появления в школе, это проясняет еще одну загадку: мы ничему не научились там, но Старик с гордостью перечислял нам прежних выпускников, получивших престижные стипендии. Значит, его школа не всегда была таким болотом, как в наше время.

Почему отец отправил нас в эту школу? Не от недостатка заботы. Сохранившаяся переписка показывает, что он рассматривал много других вариантов, прежде чем выбрать Бельзен. Я хорошо знаю отца: в таком важном деле он не полагался на первый свой выбор (который мог

---

<sup>21</sup> Это наказание полагалось за ошибку в доказательстве теоремы. – *Примеч. авт.*

<sup>22</sup> Джон Мильтон. «Комос», 22–23. Перевод Ю. Корнеева.

бы оказаться верным), ни даже на двадцать первый (который был бы сколько-нибудь сносным). Он продолжал свои изыскания, пока не пришел к сто первому выводу, непоправимо ложному. Этим всегда кончаются ухищрения простака, воображающего себя умником. Подобно «Скептику в религии» Эрла, отец всегда оказывался «столь проницателен, что обманывал сам себя». Он похвалялся умением читать между строк. Подвергая сомнению очевидный смысл любого факта или документа, отец бессознательно творил некий истинный и тайный смысл, незримый для всех, кроме него, и порожденный неугомонным воображением. Полагая, что он правильно истолковывает присланный Стариком проспект, на самом деле отец создал легенду о Бельзенской школе. Несомненно, все это стоило ему немалого беспокойства и даже страданий. Казалось бы, выдуманный им миф тут же развеется, когда мы, побыв в Бельзене, расскажем, как обстоит дело, но этого не произошло. Полагаю, этого никогда не происходит – если бы отцы в каждом поколении знали, что происходит с их детьми в школе, вся история образования сложилась бы иначе. Во всяком случае, ни брату, ни мне не удалось переубедить отца. Во-первых (позже это стало еще очевидней), отца вообще было трудно в чем-либо убедить – чересчур активный разум мешал ему слушать. То, что мы пытались ему сказать, никак не совпадало с тем, что отец слышал. Правда, мы не слишком-то и старались. Как и другие дети, мы не знали, с каким стандартом следует сравнивать, и считали все горести Бельзена самыми обычными и неизбежными школьными неприятностями. Кроме того, язык нам сковывала гордыня. Мальчик, вернувшийся домой на каникулы (особенно в первые недели, когда блаженство кажется вечным), принимается «строить из себя». Он предпочтет изобразить наставника шутком, а не чудовищем; ведь страшно показаться трусом или нытиком, но невозможно достоверно описать концентрационный лагерь, не обнаружив, что там ты на тринадцать недель превращался в бледное, заплаканное, трусливое ничтожество. Всем охота похвастать боевыми ранениями, но кто будет хвалиться рубцами рабства? Не стоит винить отца за горестные и бессмысленные годы, проведенные нами в Бельзене; лучше, говоря словами Данте, вспомнить, что и «благо в нем обретши»<sup>23</sup>.

Именно в этой школе я обрел если не друзей, то хотя бы товарищей. Когда брат поступил туда, новичков изводили. На первых порах я располагал покровительством брата (через несколько семестров он перешел в школу, которую мы назовем Виверна<sup>24</sup>), но мне особая защита уже не требовалась. В эти последние, закатные годы пансионеров в нашей школе стало мало и с нами так дурно обращались, что не было никакого смысла дополнительно отравлять жизнь друг другу. Новички появляться перестали, а мы, хоть порой ссорились, и даже по крупному, задолго до конца испытаний свыклись друг с другом и столько вытерпели вместе, что сделались по меньшей мере давними приятелями. Вот почему Бельзен не очень повредил мне. Никакие притеснения старших не терзают ребенка так, как издевательства сверстников. Мы, пятеро уцелевших, провели вместе немало веселых часов. Отмена спортивных игр плохо отразилась на подготовке к престижной школе, куда нам предстояло поступать, но тогда это упущение только радовало. По выходным нас отправляли одних на прогулку. Далеко мы не уходили, но зато покупали сладости в сонной деревушке и посиживали на берегу канала или на откосе железной дороги, возле тоннеля, высматривая поезда. Здесь Хертфордшир не казался таким враждебным. Разговор наш не ограничивался немногими темами, до которых сужается кругозор ученика старших классов, – мы еще сохраняли детскую любознательность. Тогда я впервые принял участие в философском споре. Мы обсуждали, чему подобно будущее – невидимой линии или линии, еще не начерченной. Не помню, какую точку зрения я отстаивал, но я отстаивал ее с искренним энтузиазмом. И еще у нас было то, что Честертон назвал «медленным созреванием старых шуток».

<sup>23</sup> Данте. «Божественная Комедия. Ад». I, 8. Перевод М. Лозинского.

<sup>24</sup> Виверна – разновидность дракона.

Читатель видит, что в школе со мной произошло примерно то же, что и дома: там беда сблизила меня с братом, а здесь, в постоянных бедах, страх и ненависть к Старика объединили одноклассников. Наша школа, конечно, похожа на школу доктора Гримстона в «Наоборот»<sup>25</sup>, только у нас не нашлось доносчика. Все пятеро сплотились против общего врага. Наверное, эти союзы, столь рано складывавшиеся в моей жизни, оказали на меня сильное влияние. Мир до сих пор представляется мне как «мы двое» или «мы, друзья» («горсточка счастливых»<sup>26</sup>), противостоящие чему-то, что больше и сильнее нас. Положение, в котором Англия оказалась в 1940 году, показалось мне вполне естественным, словно этого я и ожидал. Дружба была основой моего счастья, а множество знакомых или общество в целом значат очень мало. Я никак не могу понять, зачем приобретать больше знакомых, чем возможно иметь друзей. По той же причине я не ощущаю интереса (быть может, напрасно) к массовым движениям, к событиям, не затрагивающим человека непосредственно. И в истории, и в романе сражение захватывает меня тем сильнее, чем меньше в нем участников.

Еще в одном отношении школа воспроизвела мой домашний опыт. Жена Старика умерла; произошло это посередине семестра, и с горя он совсем озверел – так озверел, что Малыш даже извинялся за него перед нами. Вы уже знаете, как я научился бояться и ненавидеть эмоции. Новый опыт укрепил мой страх.

Но я еще не упомянул самого главного. Именно там я впервые сделался верующим. Насколько я понимаю, этому способствовали посещения церкви – каждое воскресенье нас водили туда дважды. Церковь была «высокой», «англо-католической». На сознательном уровне многие особенности службы возмущали меня, ведь я был протестантом из Ольстера, к тому же все эти незнакомые обряды составляли часть ненавистной английской жизни. Однако бессознательно я подпадал под обаяние горящих свечей и благовоний, пышных облачений и гимнов, которые мы пели, стоя на коленях. И все же не это главное – там я воспринял христианское учение (а не что-то «возвышенное») и наставляли нас люди, по-настоящему верующие. Я не страдал скептицизмом, и во мне ожило то, что казалось мне исконной верой. К этому опыту примешивалась изрядная доза страха, по-моему, довольно полезного и даже необходимого, но если кому-то кажется, что в моих книгах я излишне озабочен адом, то корни этого интереса надо искать не в пуританском детстве, а в англо-католическом Бельзене. Я боялся за свою душу, в особенности – пронзительными лунными ночами, когда свет бил в незанавешенное окно. Как памятно мне сонное посапывание остальных мальчиков! По-моему, все это было мне на пользу. Я начал серьезно молиться, я читал Библию и учился прислушиваться к голосу совести. Мы с ребятами часто говорили о религии, и, если память мне не изменяет, это были разумные и здравые беседы, очень серьезные без истерической взвинченности и без ханжества, свойственных старшеклассникам. Позже вы увидите, как я от этого отошел.

Конечно, с точки зрения учебы это потерянное время; если бы школа Старика не закрылась и я провел бы там еще два года, на университетской карьере можно было бы ставить крест. Я «прошел» лишь геометрию да часть английской грамматики Уэста, и ту я, кажется, выучил сам; все остальное едва выглядывает из океана арифметики, сплошная путаница: даты, сражения, экспорт, импорт. Мы забывали это, едва успев выучить, да и от того, что запомнили, было мало проку. Воображение тоже угасало. На много лет я лишился того, что называю Радостью, даже не вспоминал о ней. Читал я преимущественно всякий вздор, но, поскольку школа не располагала собственной библиотекой, Старик не нес ответственности за мое увлечение рассказами для мальчиков из «Капитана». Все удовольствие от такого чтения состояло в «фантазии», в осуществлении желаний: я подставлял себя на место героя и наслаждался его успехами.

---

<sup>25</sup> «Наоборот, или Урок родителям» – комическая повесть Ф. Энсти (Томаса Энсти Гатри), в которой мальчик благодаря волшебному камню Гаруды меняется местами с отцом и тот попадает в ужасную школу.

<sup>26</sup> Так заглавный герой хроники Шекспира «Генрих V» назвал малочисленное английское войско, которому предстояло стяжать славу в битве при Азинкуре (Акт IV, сц. 3, пер. Е. Бируковой).

Когда мальчик бросает сказки и берется за «книги для юношества», он многое теряет и мало приобретает. Кролик Питер<sup>27</sup> пробуждает бескорыстный интерес, ведь ребенок не собирается превращаться в кролика, зато он может в него играть, точно так же, как позже – играть Гамлета. А вот неудачник, ставший капитаном национальной футбольной сборной, – это воплощение твоих честолюбивых грез. Я полюбил и романы об античности: «Камо Грядеши», «Тьма и рассвет», «Гладиаторы», «Бен Гур». Можно было бы предположить, что этот интерес связан с моим религиозным обращением, но это не так: хотя ранние христиане участвовали во многих сюжетах, не они привлекали меня. Меня восхищали сандалии и тоги, храмы, рабы, императоры, галеры и цирк; страсть эта, как я теперь понимаю, была эротической и не слишком здоровой. Кроме того, книги по большей части были с литературной точки зрения слабые. Более длительное влияние на меня оказали Райдер Хаггард и научная фантастика Герберта Уэлса. Иные миры пробуждали во мне какой-то умозрительный интерес, совершенно отличавшийся от моего отношения к другим книгам. Это ни в коем случае не было романтикой *Das Ferne*<sup>28</sup>. Ни Марс, ни Луна не доставляли мне Радость (в том специальном смысле, который я придаю этому понятию). Влечение было сильнее и примитивней, оно было яростным, как плотская страсть. Позже я понял, что такая грубая жадность – признак душевного, а не духовного голода; видимо, здесь приемлемы психоаналитические толкования. Хотелось бы добавить, что написанные мной инопланетные приключения – не попытка удовлетворить подростковую тягу, а напротив: я скорее пытался изгнать беса или подчинить его более высокому и чистому воображению. Что касается психоаналитического подхода к такой словесности, он вполне оправдан и фанатизмом тех, кто увлекается ею, и отвращением тех, кто ее в руки не берет. Яростное неприятие и неистовое увлечение одинаково навязчивы и насильственны и потому равным образом заслуживают изучения.

Что ж, хватит о Бельзене; год не состоял из одних семестров. Прозабание в скверном интернате прекрасно готовит к христианской жизни – мы учимся жить надеждой, даже верой, ведь в начале семестра каникулы и родной дом столь далеки, что представить их не легче, чем рай. На фоне повседневных ужасов они до нелепости призрачны. Задание по геометрии заслоняет вожделенные каникулы точно так же, как ожидание серьезной операции может заслонить самую мысль о рае. Однако каждый раз невероятное все же происходило. Нереальное, астрономическое число – шесть недель – постепенно сменялось более доступными – через неделю, через три дня, послезавтра – и, наконец, в ореоле почти сверхъестественного блаженства к нам пунктуально являлся Последний день. Этот восторг требовал подкрепления вином и яблоками<sup>29</sup>, он ледяной волной сбегал по позвоночнику и ударял в желудок, порой мы, в сущности, переставали дышать. Правда, была и ужасная, равносильная оборотная сторона: в первую же неделю каникул приходилось соглашаться с тем, что учебный год наступит вновь. Так здоровый юноша в мирное время готов признать, что когда-то он умрет, но самое мрачное *temento mori*<sup>30</sup> не убедит его, что это в самом деле случится – не убеждало и нас. И опять же, невероятное все же наступало. Несмотря на уловки воли и воображения, усмехающийся череп проступал из-под всех масок, бил последний час, и снова цилиндр, итонский воротничок, штаны с пуговицами у колена и – хлоп-хлоп-хлоп – вечерняя поездка в порт. Я совершенно убежден, что эти воспоминания облегчили мне переход к вере. Некоторые вещи намного легче вообразить, когда у тебя есть соответствующий опыт: я легко могу представить себе в благополучные времена, что умру и сгнию или что мир исчезнет и превратится в тень, как трижды в год пре-

---

<sup>27</sup> Кролик Питер – персонаж Беатрис Поттер, как и кролик Бенджамин (см. ниже).

<sup>28</sup> (неведомой) дали (нем.).

<sup>29</sup> Песнь Песней, 2:5 (Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви).

<sup>30</sup> Напоминание о смерти (лат.). В XVI веке стало модно предьявлять гостям на пиру в качестве такого напоминания череп или скелет.

вращались в тень Старик и его трость, омерзительная еда, вонь карболки и сырая постель. Мы уже знали, что все в мире преходяще.

Обращаясь к домашней жизни тех лет, я сталкиваюсь с хронологическими проблемами. Школьные занятия в какой-то мере отражаются в сохранившихся дневниках, но медлительное, непрерывное движение семейной жизни ускользает. Незаметно нарастало отчуждение от отца. Отчасти в этом никто не виноват, отчасти виноваты мы с братом. Какой добротой и мудростью должен обладать человек сильных чувств, под гнетом своей потери вынужденный воспитывать двух озорных и шумных мальчишек, которые всецело доверяют лишь друг другу! Не только слабости отца, но и его достоинства оборачивались против него. Он был добр и великодушен и никогда бы не ударил ребенка в гневе, и он был слишком импульсивен, чтобы решиться на порку по зрелом размышлении во имя принципа, поэтому единственным средством поддержания дисциплины оставалось его красноречие. И тут роковая склонность к патетике и риторике (я вправе говорить о ней, поскольку ее унаследовал) производила жалкий и комический эффект. Отец хотел обратиться к нам с краткой продуманной речью, взывая к разуму и совести, но, увы, он стал оратором задолго до того, как стал родителем. Много лет отец служил прокурором. Едва он начинал говорить, как слова наплывали сами, опьяняя его. И вот на мальчишку, разгуливавшего в тапках по сырой траве или не вымывшего за собой ванну, обрушивалась речь Цицерона против Катилины или Берка против Уоррена Гастингса. Аллегория громоздилась на аллегория, один риторический вопрос следовал за другим, дело довершали жесты, блеск глаз и омраченное чело, паузы и каденции. Паузы были опаснее всего. Одна из них как-то раз так затянулась, что брат, наивно решив, будто головомойка миновала, тихонько взял книгу и стал читать; отец, всего на полторы секунды передержавший паузу, естественно, воспринял это как «хладнокровное, умышленное оскорбление». Несоизмеримость наших проступков и его инвектив напоминает мне адвоката у Марциалла, который выходит из себя, перечисляя всех злодеев римской истории, тогда как *lis est de tribus capellis*<sup>31</sup>:

Дело здесь не в убийстве, иль отраве,  
Иль разбое – а три козы пропали.

Увлечшись своей речью, наш бедный отец забывал не только о сути дела, но и о нашем уровне восприятия, изливая на нас свой обширнейший лексический запас; до сих пор помню такие выражения, как «изошренный», «вопиющий», «поползновение». Чтобы ощутить сочность его речи, надо знать, какую энергию вкладывает разгневанный ирландец во взрывные согласные и перекатывающееся «р». Едва ли можно придумать худший метод воспитания. До какого-то возраста отцовские речи потрясали меня невыразимым ужасом. Сквозь чащобу эпитетов, в сумбуре непонятных слов я отчетливо различал только одну мысль: слушая отца, я и впрямь верил, что разорение близко, что вскоре мы будем побираться, что он навеки запрет дом и оставит нас жить в школе, что нас сошлют в колонии и там преступный путь, на который мы, очевидно, вступили, завершится виселицей. Я лишился последнего убежища, почва уходила из-под ног. Если я просыпался ночью и не сразу различал дыхание брата на соседней кровати, я думал, что они с отцом тайно бежали в Америку, покинув меня навсегда. Так отцовская риторика воздействовала на меня какое-то время, потом она внезапно стала смешной. Я даже помню, когда произошла роковая перемена. Эта история показывает, сколь справедлив был гнев нашего отца и как нелепо он выражал свой гнев. Однажды брат задумал соорудить палатку. Мы вытащили с чердака чехол от пыли, а когда нам понадобились кольшки, отыскивали стремянку в пристройке для стирки. Вооружившись топориком, мы живо разделались со стремянкой, вбили четыре кольшка в землю и натянули чехол над ними. Чтобы проверить надеж-

---

<sup>31</sup> Суд идет о трех козах (*лат.*). Марциалл, «Эпиграммы» VI, 19, перевод Ф. Петровского.

ность конструкции, брат забрался наверх, после чего мы убрали обрывки чехла, совершенно забыв про колышки. Вечером, вернувшись с работы и поужинав, отец вышел с нами в сад. Четыре тонких столбика, торчавшие из земли, возбудили в нем вполне законное любопытство, последовал допрос с пристрастием, и мы не отпирались. Гром и молния обрушились на нас, все пошло по заведенному обычаю, но когда речь достигла кульминации: «Но я узнаю, что вы сломали лестницу! Зачем, позвольте спросить? Чтобы создать недостойное подобие кукольного театра!» – мы оба закрыли лица руками, увы, не от стыда.

Как видно из этого рассказа, отец ежедневно отсутствовал примерно с девяти утра до шести вечера. На это время дом принадлежал нам; с кухаркой и горничной мы то враждовали, то заключали союз. Все побуждало нас строить жизнь так, чтобы отгородиться от отца. Больше всего мы дорожили Индией и Зверландией, а для отца в них места не было.

Но мне не хотелось бы оставлять читателя в убеждении, будто на каникулах мы бывали счастливы только без отца. Он ликовал так же часто, как огорчался, и его милость была столь же неистощима, как и его гнев. Очень часто отец бывал для нас самым щедрым и снисходительным другом, он умел валять дурака вместе с нами и ничуть не вспоминал о своем достоинстве, «не важничал». Конечно, я не мог тогда по-взрослому оценить общение с ним, его юмор, для понимания которого требовалось известное знание жизни, я просто наслаждался хорошим настроением отца, словно хорошей погодой. Да что там, в любом случае каникулы наполнялись почти чувственным наслаждением «быть дома», роскошью, которую мы именовали «цивилизованной жизнью». Я только что упоминал «Наоборот». Наверное, популярность этой книге обеспечило не только ее озорство – это единственная в мире правдивая книга о школе. Камень Гаруды окрасил в подлинные цвета то, что обычно кажется преувеличенным: муки мальчика, оторванного от теплого, уютного, достойного дома и брошенного в грязь, в уродство и унижение школы. Я говорю об этом в прошедшем времени, поскольку с тех пор цена дома, видимо, понизилась, а школы, кто их знает, могли стать получше. Может быть, вам интересно, были ли у нас друзья, родственники, соседи? Были, конечно. Мы особенно обязаны одной семье, настолько обязаны, что лучше уделить ей отдельную главу.

### III. Маунтбрэкен и Кэмпбелл

*Ибо все эти прекрасные люди цвели ранней юностью; не было никого счастливее под небесами; их король был человек благороднейшего духа. Трудно было бы сегодня отыскать столь славное общество.*

*Гавейн и Зеленый рыцарь*<sup>32</sup>

Заговорив о родственниках, я вновь вспоминаю о той роли, которую сыграла в моем детстве столь очевидная разница между Льюисами и Гамильтонами. Я рано ощутил контраст между дедушкой Льюисом, глухим, малоподвижным, бормочущим псалмы, озабоченным своим здоровьем и твердящим, что недолго нам осталось его терпеть, и бабушкой Гамильтон, остроумной и острой на язык вдовой, вечно готовой к спору (к ужасу всех родных, она отстаивала самоуправление Ирландии). Бабушка была Уоррен с головы до пят, она презирала условности так, как их способны были презирать только старые южноирландские аристократы, и жила одна в огромной развалюхе среди полусотни кошек. Как часто среди самой невинной болтовни она восклицала: «Вздор и чепуха!» Родись бабушка чуть позже, она бы, несомненно, примкнула к фабианцам<sup>33</sup>. В отвлеченные рассуждения она врывалась, беспощадно требуя «придерживаться фактов», и настаивала на доказательствах, когда ей навязывали общее мнение. Разумеется, ее считали эксцентричной. Такой же контраст я наблюдал и между Льюисами и Гамильтонами следующего поколения. Старший брат отца, дядя Джой (у него было два сына и три дочери), жил неподалеку от нашего Старого дома. Младший мальчик был моим первым другом, но позднее мы разошлись. Дядя Джой был и добр, и умен, и очень привязан ко мне, но я не в силах припомнить, о чем говорили старшие в этом доме – обычные взрослые разговоры о знакомых, о политике, о делах и здоровье. А вот дядя Гас (Огастес У. Гамильтон, брат моей мамы) разговаривал со мной как сверстник, он говорил о Настоящих Вещах. Ясно, увлеченно, без нелепых шуток и глупой снисходительности, он учил меня всем доступным мне наукам и получал от этого такое же удовольствие, как я. Благодаря ему я смог читать Уэлса. Правда, сам по себе, как личность, я едва ли был ему так же дорог, как дяде Джою, но (такая вот несправедливость) именно это меня устраивало. Мы сосредотачивались не друг на друге, а на предмете беседы. Я уже говорил о жене, которую дядя Гас привез из Канады. В ней тоже было то, что я так любил, – ровная, неизменная приветливость без намека на аффектацию, надежный здравый смысл и ненавязчивая способность в любых обстоятельствах поддерживать, насколько возможно, уют и бодрость. Забудем о том, чего нет, и извлечем все из того, что у нас есть. Ни она, ни ее муж не понимали страсти Льюисов беречь заживающие раны и гоняться за несбыточным.

У нас были и другие родственники, значившие для нас гораздо больше, чем родные дяди и тети. В миле от нашего дома высился самый большой дом, какой я только видел в те годы (я назову его Маунтбрэкен), и там жила семья баронета Э. Леди Э. была маминой кузиной и ближайшей подругой; в память мамы она самоотверженно пыталась приобщить к светской жизни нас с братом. На каникулах мы постоянно получали приглашение на обед, и только благодаря этому мы не превратились в дикарей. Обязаны мы не только леди Э. (кузине Мэри), но и всей семье: год за годом нас приглашали на прогулки и в автомобильные поездки (редчайшее удовольствие в те времена), на пикники и в театр. Наша неотесанность, шумливость, неаккуратность так и не смогли поколебать доброту кузины Мэри. Здесь мы чувствовали себя почти как

---

<sup>32</sup> Цитата из средневековой аллитерационной поэмы «Гавейн и Зеленый рыцарь» в прозаическом переложении.

<sup>33</sup> Фабианство – английское социал-демократическое движение рубежа XIX–XX вв.

дома, с одной существенной разницей: нужно было пристойно себя вести. То небольшое, что я знаю о приличиях и умении себя держать, я почерпнул в Маунтбрэкен.

Сэр У. (кузен Квартус) был старшим из братьев, совместно владевших большим промышленным предприятием в Белфасте. Он принадлежал к сословию и поколению Форсайтов<sup>34</sup>, но либо представлял собой исключение (что вполне возможно), либо Голсуорси жестоко несправедлив к подобным людям. Трудно вообразить себе человека менее похожего на Форсайтов. Он был великодушен, по-детски весел, искренне смиренен и благочестив, очень щедр к бедным. Перед теми, кто от него зависел, он постоянно чувствовал ответственность. Кузен казался веселым и мальчишески беззаботным, но даже тогда я понимал, что жизнь его подчинена долгу. Его высокая фигура и удивительно красивое лицо, обрамленное седой бородой, остались одним из прекраснейших воспоминаний моего детства. Вся семья была красива. Кузина Мэри с годами превратилась в красивую пожилую даму с серебряными волосами и мягким южноирландским выговором, который отличается от пресловутого «ирландского акцента» так же сильно, как речь шотландского горца от городского сленга Глазго. Больше всего мы общались с тремя их дочерьми: хотя они уже считались взрослыми, они были все-таки ближе по возрасту к нам, чем остальные наши родственники и знакомые. Все три были поразительно красивы: старшая, Х., была суровой Юноной, черноволосой королевой, подчас в ее облике проглядывало нечто древнее, иудейское. К. больше напоминала валькирию (все сестры были прекрасными наездницами). Она унаследовала отцовские черты, но в ее лице вспыхивало нечто подобное пылу и утонченности породистого коня, в минуты негодования тонкие ноздри раздувались великолепным презрением. В ней было то, что мужчины по своему тщеславию называют «мужской честностью», в дружбе она была надежней любого мужчины. Младшая, Дж., была самой красивой, в ней все было совершенно – фигура, цвет лица, голос, каждый жест, – но кому дано описать красоту?! Только не думайте, что я был по-детски влюблен в нее. Такая красота, что она открывается и не влюбленному, открывается даже равнодушному и объективному взгляду ребенка. (Первой женщиной, пробудившей во мне чувственность, была школьная учительница танцев, о которой я поговорю позже.)

Маунтбрэкен был кое в чем похож на наш дом. Здесь мы тоже находили закоулки на чердаке, тихие комнаты и множество книг. В первые годы, пока мы еще не пообтесались, мы часто забывали о хозяевах и предавались самостоятельным исследованиям; тогда-то я и наткнулся на «Муравьев, пчел и ос» Леббока. И тем не менее Маунтбрэкен значительно отличался от нашего дома: жизнь здесь текла свободнее и просторнее, плыла, точно баржа по реке, а наша вечно тархтела, словно тачка по булыжникам.

Друзей-сверстников у нас не было. Отчасти это обычное следствие школьного воспитания – мы попросту не были знакомы с соседями; но гораздо больше мы обязаны своим одиночеством нашей замкнутости. Один мальчик, живший поблизости, неоднократно пытался сблизиться с нами, а мы всячески избегали его. Каникулярная жизнь слишком коротка, она и так была переполнена чтением, сочинительством, играми, велосипедными прогулками, беседами и планами. «Третий лишний» вызывал у нас яростное неприятие, как и попытки втянуть нас в светскую жизнь (за исключением прекрасного и щедрого гостеприимства Маунтбрэкена). Поскольку в дальнейшем разного рода приглашения сделались для нас подлинным бичом, я лучше скажу о них здесь, и покончим с этим. В те времена устраивали вечера с танцами; на них зачем-то звали и подростков: хозяевам так удобнее – и если дети хорошо знакомы друг с другом и не слишком застенчивы, они вполне могут повеселиться. Для меня такие вечера превратились в пытку, и не только потому, что я смущался. Я терзался ложностью своего положения, которую прекрасно осознавал: я не по своей воле участвовал во взрослом развлече-

---

<sup>34</sup> В «Саге о Форсайтах» Джон Голсуорси изобразил род английских промышленников и дельцов как людей жестких, ограниченных, лишенных представления о красоте.

нии, но относились ко мне как к ребенку. Меня мучила полунасмешливая снисходительность старших, делавших вид, будто они и впрямь считают меня «большим». Прибавим неудобства итонского воротничка, туго накрахмаленной рубашки, тесных башмаков, головокружение и усталость от бодрствования в непривычно поздний час. Думаю, даже взрослым эти посиделки не показались бы увлекательными без вина и флирта; что же за удовольствие для мальчика, не умеющего еще ни пить, ни кокетничать, до утра полировать и без того блестящий паркет? Я не понимал, что так принято, что меня приглашают из вежливости, ради дружбы с отцом или в память матери. Мне все это казалось несправедливым и бессмысленным наказанием, в особенности когда приглашения сыпались в последнюю неделю каникул, вырывая огромный клочок из немногих оставшихся нам золотых часов. Так бы и разодрал на части любезнейших хозяев! И чего они к нам привязались? Мы-то им ничего не сделали, мы не заставляли их ходить в гости к нам.

Муки мои усугублялись ложным представлением о том, как мне следует себя вести. Представление это сложилось довольно забавным образом: поскольку я много читал и мало общался со сверстниками, еще до школы у меня выработалась речь, звучавшая чрезвычайно нелепо в устах пухлощекого мальчишки в итонском пиджаке. Я любил длинные слова, а взрослые, разумеется, считали, будто я рисуюсь. Вовсе нет, просто других слов я не знал. На самом деле тщеславие требовало школьного жаргона, а не естественной для меня книжной лексики. Многие взрослые вовлекали меня в разговор, заманивали притворным интересом, притворной серьезностью, пока я внезапно не убеждался, что они надо мной смеются. Унижение казалось ужасным, и после двух-трех опытов я установил для себя твердое правило: на этих «сборищах» (как я про себя называл их) говорить только о том, что меня совершенно не интересует, и как можно примитивнее. Мне это удалось, даже слишком хорошо. Словно актер, я играл добровольно избранную роль, подражая самой пустой болтовне взрослых, скрывал подлинные чувства и интересы под жалкой шутовской и поддельным энтузиазмом, страшно уставал от маски и со вздохом облегчения срывал ее в тот миг, когда мы с братом наконец усаживались в кеб, чтобы ехать домой. Это было единственное счастливое мгновение за весь вечер. Прошли годы, прежде чем я понял, что в пестром обществе хорошо одетых людей тоже можно вести разумный разговор.

Как все-таки перепутаны в нашей жизни справедливые и несправедливые суждения! Нас винят за истинные недостатки, но замечают их совсем не тогда, когда они проявляются. Меня считали тщеславным – и справедливо, но упрекали в тщеславии как раз в тех случаях, в которых оно не играло ни малейшей роли. Взрослые часто говорят о детском тщеславии, не понимая, где именно проявляется тщеславие детей вообще и конкретного ребенка в частности. Так, к моему изумлению, отец всегда утверждал, будто мои жалобы на жесткое и колючее белье – чистое кокетство. Теперь я понимаю, что он имел в виду предрассудок, соединяющий нежную кожу и принадлежность к элите, и полагал, что я таким образом хочу показать свою утонченность. А я попросту не слыхал об этом предрассудке, и если б прислушался к голосу тщеславия, то скорее стремился бы похвастать шкурой грубой, как у моряка. Словом, меня обвиняли в проступке, до которого я еще не дорос. То же самое произошло, когда я спросил, что такое «болтушка». Оказалось, так в просторечии именовалась каша. Взрослые решили, что я притворяюсь не ведающим «народной» речи и тем самым претендую на изысканность. И опять же, я спросил только потому, что прежде не слышал этого слова, а если бы я знал, что оно «вульгарное», я бы предпочел употреблять именно его.

Итак, школа Старика затонула, никем не оплаканная, летом 1910 года. Вновь встал вопрос о моем образовании. На этот раз отец разработал план, который привел меня в восторг. В миле от Нового дома высились кирпичные стены и башенки Кэмпбелл-колледжа, основанного специально для того, чтобы предоставить жителям Ольстера хорошее образование без необходимости ездить в Англию. Мой умница-кузен, сын дяди Джоя, уже учился там, и весьма

успешно. Решили, что я стану пансионером, но с правом возвращаться домой по воскресеньям. Я был счастлив. Я считал, что ничто ирландское, даже школа, не может быть скверным, во всяком случае – настолько скверным, как в Англии. Итак, я отправился в Кэмпбелл.

Я провел в этой школе слишком мало времени, чтобы подробно говорить о ней. Она ничуть не походила на те английские школы, о которых я позже слышал. В классах назначались префекты, но они не пользовались властью. По английскому образцу школу разделили на «дома», но о них вспоминали, только разбивая школьников на команды для игры, причем спорт не был обязательным. Состав учеников был гораздо более «смешанным», чем допустимо в Англии; я учился бок о бок с сыновьями фермеров. Мой лучший приятель был сыном торговца, не так давно он разъезжал с отцовским фургонем, поскольку неграмотный водитель не умел вести счет. Я страшно завидовал ему, а он, бедняга, все вздыхал о тех временах. «Еще в прошлом месяце об эту пору, – говорил он мне, – я не сидел над уроками. Я возвращался домой с работы, для меня на стол стелили скатерть и кормили сосисками».

Как историк я могу только радоваться, что побывал в Кэмпбелле, поскольку он – точная копия английской школы до реформы Томаса Арнольда<sup>35</sup>. Там происходили настоящие поединки на кулачках с секундантами и сотнями бившихся об заклад зрителей. Случались и издевательства над новичками, правда, мне почти не доводилось с ними сталкиваться: жесткая иерархия, как в современной английской школе, здесь не сложилась, каждый завоевывал себе место кулаками или природной смекалкой. С моей точки зрения, здесь имелся один существенный недостаток – отсутствие своего угла. Лишь немногие, самые старшие, получали отдельную комнату, а нам, кроме часов трапезы и вечерней возни с заданиями в специально отведенном просторном классе, было некуда деться. Все время, кроме занятий, мы проводили, либо вливаясь в толпу, либо пытаюсь избежать тех непредсказуемых движений, когда людской поток то вытягивается, то сгущается, то замедляет шаг, то устремляется, подобно приливу, в одном направлении, распадается и образуется вновь. Пустынные кирпичные коридоры разносили эхом топот, вопли, визг, пронзительный смех. Мы либо куда-то двигались, либо болтались – в кладовых, в уборных, в большом холле. Все это смахивало на жизнь в зале ожидания.

Притеснение новичков здесь, по крайней мере, отличалось своего рода честностью, это не была продуманная система буллинга, поощряемая школьной иерархией с префектами во главе. Сбившись в стаи по восемь-десять парней, громилы подкарауливали жертву в лабиринте бесконечных коридоров. Их стремительное нападение на фоне общего гама и крика, как правило, замечали слишком поздно. Иногда похищение кончалось для жертвы плохо: двух моих знакомых выпороли в каком-то закоулке, выпороли без всякой злобы – нападавшие даже не знали их в лицо, – чистое искусство для искусства. Я попал в плен лишь однажды, моя участь оказалась несравненно благополучнее, и, пожалуй, об этом стоит поведать забавы ради. Меня на головокружительной скорости протащили по множеству коридоров и переходов, и, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь, в числе прочих пленников, в заброшенной комнате с низким потолком, где горел одинокий газовый светильник. Отдышавшись, бандиты схватили первого пленника и подвели его к стене, вдоль которой примерно в метре от пола рядами тянулись трубы. Я встревожился (хотя и не удивился), когда мальчику велели нагнуться, уткнувшись головой в стену под нижней трубой: подумал, сейчас будут пороть. Зато миг спустя очень даже удивился: в комнате, как вы помните, было почти темно; двое бандитов дали мальчишке пинка, и он исчез без звука, без следа. Это показалось мне жутким колдовством. Вывели новую жертву, тоже заставили согнуться, будто для порки, и вновь вместо порки – исчезновение, телепортация, аннигиляция. Наступил мой черед, я получил свой пинок под зад и провалился сквозь

---

<sup>35</sup> Томас Арнольд (1795–1842) – английский педагог, директор школы Регби. Благодаря его реформе в привилегированных школах существенно возросло значение командного спорта, а власть над новичками была отдана старшеклассникам и старостам-префектам (что в свою очередь породило буллинг).

какую-то дыру или отдушину в стене прямиком в угольный погреб. За мной кувырком полетел еще один мальчик, дверь захлопнулась, и бандиты с радостными воплями помчались за новой добычей. Видимо, они побились об заклад с соперниками и им предстояло сопоставить «трофеи». Вскоре нас выпустили, сильно перемазанных, слегка помятых, но в общем невредимых.

Самым важным событием в Кэмпбелле для меня стало чтение «Сухраба и Рустама»<sup>36</sup> под руководством прекрасного учителя (мы его прозвали Окти). Я полюбил эту поэму «с первого взгляда» и сохранил это чувство навеки. Как в первой строке поэмы над Оксом<sup>37</sup> подымался влажный туман, так поднялась и окутала меня прозрачная, серебристая прохлада, блаженство величественной тишины, дали и торжественной печали. Едва ли я переживал тогда так, как теперь, центральное, трагическое событие; скорее меня пленяли видение художника в Пекине, его белый как слоновая кость лоб и бледные руки, кипарисы в королевском саду, воспоминания о юности Рустама, кабульские корабейники и покой хорезмской пустыни. Мэтью Арнольд подарил мне (и дарил мне с тех пор в лучших своих книгах) не бесстрастное созерцание, но напряженное, сосредоточенное взглядывание вдаль. Вот она, подлинная судьба книги! Критики болтали, будто эта поэма доступна лишь филологам, тем, кто распознает в ней отзвуки Гомера. Но мальчишка, внимавший тогда Окти (мир его праху), слыхом не слыхивал о Гомере. Для меня отношения Арнольда с Гомером выстраивались в обратном порядке: когда несколькими годами позже я взялся за «Илиаду», она понравилась мне, среди прочего, благодаря воспоминаниям о «Сухрабе». Словом, не важно, через какую дверь вы войдете в единую поэзию Европы. Болтай поменьше и насторожи уши – все что угодно приведет тебя к чему угодно – *ogni parte ad ogni parte splende*<sup>38</sup>.

Посреди моего первого и последнего семестра в Кэмпбелле я заболел и меня отправили домой. Отец, не знаю почему, успел разочароваться в этой школе. Ему понравилась реклама подготовительной школы города Виверна, хотя она не имела отношения к Вивернскому колледжу; особенно удачным ему казалось, что, таким образом, мы с братом снова будем отправляться в путь и возвращаться вместе. Словом, я провел дома блаженные шесть недель, впереди маячило Рождество, а дальше – новые приключения. Сохранилось письмо, написанное отцом брату: он пишет, что я пока очень счастлив, но он опасается, «как бы мальчик не соскучился к концу недели». Даже странно, как мало он знал меня, хотя моя жизнь текла рядом с его. Эти недели я спал у него в комнате, спасаясь от одиночества в темноте – единственного одиночества, которого я боялся. Пока брат не приехал, не с кем было шалить, и мы с отцом ни разу не поссорились. Впервые моя любовь к нему цвела безмятежно, нам было хорошо вместе. Когда же отец уходил на работу, начиналось самое глубокое и прекрасное уединение. Пустой дом, пустые, тихие комнаты словно освежающим душем смывали с меня суету и шум Кэмпбелла. Я читал, писал, рисовал, сколько душе угодно; именно тогда, а не в раннем детстве, я с наслаждением окунулся в сказки. Меня очаровали гномы, древние карлики в колпачках с длинной седой бородой, каких мы знали, откуда Артур Рэкем<sup>39</sup> не сделал этих подземных жителей возвышенными, а Уолт Дисней – примитивными. Видел я их отчетливо до галлюцинаций. Однажды, прогуливаясь по саду, я почти поверил, будто крошечный человечек перебежал мне дорогу. Я немного испугался, но это ничуть не напоминало ужасы ночных кошмаров. Со страхом, охранявшим путь к эльфам и феям, я мог совладать. Даже трус не всего боится.

---

<sup>36</sup> Поэма Мэтью Арнольда на сюжет, заимствованный из «Шахнаме» Фирдоуси.

<sup>37</sup> Окс – старинное название реки Амударья.

<sup>38</sup> Данте. «Ад», VII, 75, пер. М. Лозинского: Чтоб каждой части часть своя сияла (то есть хоры ангелов и планет взаимно отражали друг друга).

<sup>39</sup> Артур Рэкем (1867–1939) – английский художник, иллюстратор детских книг.

## IV. Я становлюсь вольнодумцем

*Я громко стукнул кулаком:  
Ну все! Испил до дна!  
Иль без конца мне суждено  
Вздохнуть? Нет, жизнь моя вольна.  
Нет, вольным ветром я влеком!*  
*Джордж Герберт*<sup>40</sup>

В январе 1911-го, когда мне исполнилось тринадцать<sup>41</sup>, мы с братом вместе отправились в Виверну – он в колледж, я в подготовительную школу. (Назову ее Шартр.) Так начался классический период нашей школьной жизни, о котором мы чаще всего вспоминали, когда речь заходила о годах ученья. Основой каждого года стали совместные поездки в Виверну, печальное расставание на конечной станции, радостная встреча на той же станции в конце семестра и вновь совместная поездка – домой. Мы становились старше и разрешали себе в этих поездках все больше. В первый раз, приплыв рано утром в Ливерпуль, мы тут же пересели на свой поезд; позже мы догадались, что гораздо приятнее провести утро, бездельничая в холле отеля «Лайм-стрит», с журналами и сигаретами под боком, а после обеда отправиться в Виверну и как раз успеть к крайнему сроку. Еще позже мы отказались и от журналов: мы открыли (а ведь некоторые люди так об этом и не догадываются), что в дорогу можно брать хорошие книги и к удовольствиям путешествия добавится лучшее из наслаждений – чтение. Очень важно как можно раньше научиться читать хорошую книгу, где бы ты ни был. «Тамерлана» я впервые прочел во время поездки из Ларна в Белфаст под проливным дождем, а «Парацельса» – в окопе, при свече, которая гасла каждый раз, когда неподалеку стреляла пушка, то есть каждые четыре минуты. Совсем праздничной была поездка домой. Тут у нас был неизменный план: ужин в ресторане – всего лишь яйца пашот и чай, но для нас пиршество богов, затем – мюзик-холл и, наконец, – пристань, огромные прославленные корабли, наш корабль, отплытие и благословенный вкус соли на губах.

Курение было, конечно, «тайным поползновением», как сказал бы отец, но мюзик-холл мы посещали с его разрешения. В этих вопросах он не был пуританином и часто по воскресеньям возил нас в белфастский «Ипподром»<sup>42</sup>. Правда, теперь я понимаю, что не разделял его любовь к водевилям, которую унаследовал брат. В ту пору мне казалось, будто меня захватывало зрелище, но я ошибался. Зрелище я забыл, и мысль о нем не пробуждает во мне ни малейшего волнения, ни благодарной памяти об удовольствии, но во мне до сих пор живы сочувствие и соужение, которые я ощущал, если номер проваливался. Мне нравилось то, что сопутствует зрелищу, – шум и шорох, яркое освещение, сама идея праздника и хорошее настроение отца, а главное – поздний холодный ужин, когда мы возвращались после десяти часов. Не только наша школьная жизнь переживала расцвет, но и домашняя кухня – то был век Энни Стрэгэн. Она пекла «высокие» пироги с мясной начинкой, о которых нынешние английские мальчишки не имеют ни малейшего понятия, да и в ту пору они удивили бы людей, привыкших к магазинным подделкам.

Шартр, высокое белое здание на горе, над зданием колледжа, был, по существу, совсем небольшой школой – всего-то двадцать пансионеров, но он в корне отличался от Бельзена.

---

<sup>40</sup> Перевод Д. Щедровицкого. Стихотворение в переводе называется «Ярмо», а в оригинале – Collar, «воротник», признак сана. Начав с мятежа, Джордж Герберт, священник и поэт-метафизик (1593–1633), заканчивает добровольной капитуляцией перед окликнувшим его Богом.

<sup>41</sup> Ошибка автора: в ноябре 1910-го ему исполнилось двенадцать.

<sup>42</sup> «Королевский ипподром» – театр, преимущественно водеvilный.

Здесь по-настоящему началось мое образование. Директор по прозвищу Бочка был умен и терпелив, под его руководством я скоро освоился с латынью и английской литературой и стал одним из кандидатов на стипендию в колледже. Кормили нас хорошо (мы, конечно, все равно ворчали) и хорошо смотрели за нами. У меня были отличные товарищи, хотя, конечно, мы переживали те вечные дружбы, непримиримую вражду, отчаянные схватки и обновленные союзы и славные революции, которые столь важны в жизни мальчика; и эта жизнь то возносила меня на вершину, то сбрасывала на самое дно.

Виверна исцелила меня от нелюбви к Англии. Под нами простиралась огромная голубая равнина, за ней острые зеленые холмы, очертаниями подобные высоким горам, но такие маленькие и уютные. Все это доставляло мне удовольствие. А Вивернское аббатство оказалось первым зданием, в котором я разглядел красоту. В Шартре я обрел первых подлинных друзей. Там случилось и важнейшее на тот момент событие моей духовной жизни: я перестал быть христианином.

Не знаю точно, когда именно это случилось, во всяком случае, процесс начался после поступления в школу и завершился вскоре после ее окончания. Попробую изложить сознательные причины моего разрыва с верой и те неосознанные побуждения, о которых я теперь догадываюсь.

К сожалению, мне придется начать с мисс С., нашей воспитательницы, – я любил ее и буду говорить о ее ошибке так же бережно, как говорил бы о промахе, допущенном моей мамой. Она была прекрасной воспитательницей, заботливой и умелой во время наших болезней, веселой и дружелюбной участницей наших игр и одним из самых бескорыстных и самоотверженных людей, кого я знал. Мы все любили ее, особенно я, сирота. Но мисс С., которая мне казалась уже почти старой, была еще так молода, что не достигла духовной зрелости, она все еще искала истины со всею страстью чистой души. Проводников на этом пути тогда было еще меньше, чем сейчас. Она затерялась между теософами, розенкрейцерами и спиритами, заблудилась и в лабиринте англо-американского оккультизма. Ей бы и в голову не пришло подрывать мою веру, она хотела только внести в комнату свечу, не ведая, что комната полна пороха. Никогда прежде не слышал я о том, о чем она рассказывала; нигде, кроме сказки или кошмара, не встречал иных духов, кроме Бога и человека. Я любил читать о видениях, иных мирах и неведомых формах жизни, но и не думал верить в это. Даже карлик-призрак мелькнул и тут же исчез. Дети никогда не верят в то, что они воображают, и я, хорошо знакомый с миром Индии и Зверландии (и не веривший в него именно потому, что сам его создал), был так же далек от подобного заблуждения, как любой ребенок. А тут я впервые узнал, что вокруг нас могут быть настоящие чудеса, что видимый мир – лишь завеса, скрывающая многие царства, о которых умалчивала моя куца теология. Так родилась во мне страсть, доставившая мне много хлопот и огорчений, – страсть к сверхъестественному ради сверхъестественного, тяга к оккультному. Не всем свойственна эта болезнь, но те, кто переболел ею, меня поймут. Я пытался описать ее в романе. Это род духовной похоти – как и телесная похоть, она уничтожает интерес ко всему на свете, кроме себя самой. Может быть, именно эта страсть, а не жажда власти обуревают колдунов. Кроме того, беседы с мисс С. постепенно, неосознанно расшатали здание моей веры, стерли все грани. Расплывчатая умозрительность оккультизма размывала четкие истины веры, и я с наслаждением это принимал. Все стало умозрительным, «я верую» сменилось, как точно сказано, на «считается»<sup>43</sup> – о, какое облегчение! Я забыл бессонные лунные ночи в Бельзене. Тираническая мощь Откровения, этот солнечный знойный полдень, сменилась прохладным вечером Высшей Мысли. Здесь ничто не требовало ни веры, ни послушания – верь только в

---

<sup>43</sup> Льюис цитирует сатирические стихи Роланда Нокса (1913), одно из первых высказываний против избыточной «политкорректности»: «Когда вкрадчивая вежливость, умерив рвение зелота, заменит “Я верую” на “так считается”».

то, что тебя успокаивает или возбуждает. Я не виню в этом мисс С. Враг воспользовался тем, что она говорила в своей невинности.

Для Врага это было тем легче, что я, сам того не сознавая, давно уже отчаянно жаждал избавиться от своей веры. Дело в том, что из-за моей ошибки – честного заблуждения, в честности его я до сих пор убежден – молитва стала для меня тягостным бременем. Вот как это случилось. Еще в детстве мне твердили (как и всем детям), что надо не просто повторять слова молитвы, но и вдумываться в ее смысл. Когда у Старика я обрел веру, я старался испытывать те чувства, о которых молитва говорит. Сперва все было просто. Потом подала голос «ложная совесть», «Закон» апостола Павла, «болтун», по слову Джорджа Герберта<sup>44</sup>. Едва я произносил «аминь», «совесть» шептала: «А ты уверен, что ты в самом деле думал то, что говорил?» – и еще вкрадчивей: «А ты уверен, что у тебя получилось хотя бы так же хорошо, как вчера?» Я не знал в ту пору, что побуждало меня отвечать на этот вопрос «нет». Тогда голос говорил: «Попробуй-ка еще раз», и я вновь принимался молиться, без малейшей надежды, что на этот раз молитва мне удастся.

Наконец, я нашел выход – естественно, самый глупый. Я установил правило: не принимать ни одного слова, если оно не сопровождалось достаточной четкостью воображения и чувства, «исполнением», как я это называл. Каждую ночь я должен был простым усилием воли добиваться того, чего нельзя добиться одним усилием воли, того, что я сам не мог определить, не мог понять, произошло оно или нет, а когда я все же добивался, духовная ценность этого достижения была очень невелика. Если б кто-нибудь вовремя повторил мне предупреждение Уолтера Хилтона – не добиваться «искусством» того, что Господь не желает нам дать! Ночь за ночью, когда меня уже тошнило от бессонницы, от отчаяния, я выкачивал из себя это «исполнение». Складывался порочный круг: я начинал с молитвы о «правильной молитве» на этот вечер, но была ли сама эта предварительная молитва «правильной»? Мне еще хватило ума отбросить этот вопрос, не то бы мне не удалось ни начать, ни кончить ночное бдение. Как хорошо я помню все это! Холодный линолеум, часы, отбивающие четверти, усталость, слабость, безнадежность. От этой муки я жаждал избавиться и душу и тело. Дошло до того, что я дрожал с наступлением вечера и час отбоя был мне страшен, как человеку, терзаемому хронической бессонницей. Кажется, я был близок к помешательству.

Эта тяжкая обязанность была, конечно, подсознательной причиной моего бегства от христианской веры, но вскоре появились и осознанные причины для сомнения. Одна причина пришла из чтения классиков – так, в Вергилии мы находили множество религиозных идей, но все педагоги и издатели считали эти идеи заведомо ложными. Никто и не пытался показать, в чем христианство исполнило чаяния язычников, в чем язычество было предчувствием христианства. Выходило, что иные религии – всего-навсего нагромождение вздора, и только наша вера, как счастливое исключение, оказалась совершенной истиной. Забыли даже раннехристианское понимание язычества как беспоклонства – с этим объяснением я бы еще как-нибудь согласился, но меня учили, что религия вообще оказалась естественным и вместе с тем ложным порождением цивилизации, заразным заблуждением. Посреди тысячи таких религий – одна наша, тысяча первая, истинная. Почему я должен был верить в такое исключение? Ведь в основе этой веры те же свойства, что и у других. Почему я должен был относиться к ней иначе, и должен ли я был относиться к ней иначе, тем более что мне этого совсем не хотелось?

Кроме того, с не меньшей силой мою веру подрывал некий глубоко укорененный пессимизм – пессимизм разума, а не духа. Я не был тогда несчастен, но я усвоил определенный взгляд на этот мир и считал его, в сущности, ничтожным, плохо налаженным. Да, конечно, одним моим читателям смешон, другим – отвратителен избалованный и закормленный маль-

---

<sup>44</sup> В стихотворении Джорджа Герберта «Совесть» «болтун» называет красивое уродливым, доброе злым, пока поэт не перестает верить своим глазам и ушам.

чишка в итонском воротничке, который не одобряет мироздания. Читатели правы, только зря они сосредотачиваются на воротничке, забывая, что такое отрочество. Юный возраст сам по себе не повод отмахиваться от тогдашних суждений. Почти все мыслящие люди нащупали свои главные идеи до четырнадцати лет. Что же касается источников моего пессимизма, прошу читателя припомнить: хотя моя подростковая жизнь была благополучной, начиналась она с больших бед. Правда, я думаю, что семена пессимизма проникли в мою душу еще до смерти мамы. Пусть это покажется забавным, но здесь, кажется, сыграла свою роль моя неуклюжесть. Как это было? Конечно же, я не рассуждал так: «Раз я не могу как следует разрезать ножницами этот лист бумаги, значит, мир устроен плохо». Дети вообще не склонны к обобщениям, да и не столь глупы. Не возникло у меня и комплекса неполноценности, поскольку я не сравнивал себя с другими и никто не знал о моих неудачах. Но я чувствовал (хотя тоже не мог выразить это словами) упорное сопротивление неодушевленной материи. Нет, опять вышло очень абстрактно и по-взрослому. Точнее, я попросту чувствовал, что все выйдет не так, как я хочу. Хочешь прямую линию – выйдет кривая, хочешь кривую – она распрямится, завязанный узел тут же развяжется, а тот, что ты пытаешься распутать, только крепче затянется. Слова эти звучат смешно, и, пожалуй, мне самому теперь смешно вспоминать об этом, но именно ранние, ускользающие впечатления, нелепые со взрослой точки зрения, формируют основные склонности, привычное доверие или недоверие к миру.

И еще одно: хотя я был сыном преуспевающего человека (в наше стесненное налогами время та жизнь показалась бы неправдоподобно надежной и обустроенной), я с раннего детства постоянно слышал, что меня ждут бесконечная борьба и величайшее напряжение всех сил, чтобы – в лучшем случае – избежать работного дома. Отец мой рисовал это будущее так живописно, что я всецело верил ему и даже не замечал, что все известные мне взрослые жили спокойно и благополучно. Итоги своей судьбы я подвел как-то в разговоре с другом в Шартре: «Семестр, каникулы, семестр, каникулы, а как кончим школу – работа, работа, работа, пока не умрем». Даже если бы не это заблуждение, я, наверное, все равно нашел бы основания для пессимизма. В детском возрасте мировоззрение не определяется сиюминутным благополучием, даже мальчишка способен заметить пустыню вокруг себя, хотя сам пока пребывает в оазисе. Мне было свойственно сострадание, хотя довольно пассивное: сильнейшую вспышку ненависти за всю жизнь я ощутил, когда помощник учителя запретил мне подать милостыню нищему, пристроившемуся у ворот школы. Самое раннее мое чтение – не только Уэллс, но и Роберт Болл<sup>45</sup> – укрепило ощущение равнодушной бесконечности пространства и человеческой беспомощности. Вот почему мир казался мне неприветливым, даже угрожающим. Прежде чем я прочел Лукреция, я предчувствовал силу его довода в пользу атеизма, самого сильного из таких доводов:

Nequaquam nobis divinitus esse paratum  
Naturam rerum; tanta stat praedita culpa.

Я дерзнул бы считать достоверным,  
Что не для нас и отнюдь не божественной  
волею создан  
Весь существующий мир: столь много в нем  
всяких пороков<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Роберт Болл (1840–1913) – астроном, автор научно-популярных книг.

<sup>46</sup> Лукреций. «О природе вещей», II, 180–181. Перевод Ф. Петровского.

Как соединялся мой атеизм, аргумент об отсутствии замысла, с оккультизмом? Кажется, мне так и не удалось увязать их логически. Я просто раскачивался от одного настроения к другому – зато оба они отвергали христианство. И так, мало-помалу – теперь мне уже не проследить все оттенки этого превращения – я отпал от Церкви, утратил веру и ощутил не утрату, но огромное облегчение.

Я пробыл в новой школе с весны 1911 до осени 1913 года, и внутри этих дат я не могу установить более точную хронологию своего отступничества. Это время делится в моей памяти на два периода, граница между ними – уход всеми любимого помощника учителя и еще более любимой наставницы. С этого дня все пошло прахом – ушло не внешнее довольство, а внутреннее надежное добро. Ведь и мисс С. причинила мне не меньше добра, чем (не ведая того) зла. Пробудив мою нежность, она почти избавила меня от неприязни к «чувствам», укоренившейся в раннем детстве. И даже в «Высшей Мысли», хоть ее воздействие и было так губительно, присутствовала подлинная бескорыстная духовность, которая пошла мне на пользу. Но когда мисс С. ушла из школы, все доброе, что было в ее словах, померкло, а дурное осталось. Еще очевидней был вред от смены учителя. «Братец», как мы прозвали прежнего, был прекрасен. Мудрый чудак, шумный, ребячливый, сердечный, он держался с нами словно ровесник, ничуть не теряя авторитета. Беззаботный, небрежно одетый, совершенно чуждый аффектации. Он был преисполнен такого вкуса, даже аппетита к жизни, какого мне особенно недоставало. Однажды мы соревновались в беге под мокрым снегом, и вот тогда-то я понял, что плохую погоду надо принимать как грубоватую шутку. Его сменил юный выпускник университета, назовем его Парняга. Это была жалкая копия персонажей Саки или даже Вудхауза: остряк, знаток жизни и свой парень. Неделью мы колебались (только потому, что у него был очень переменчивый характер); потом пали к его ногам. Перед нами явилась блестящая мудрость века сего, и – подумать только – он готов был поделиться этой мудростью с нами!

Мы превращались в щеголей. Тоже носили галстуки с булавками, куртки с глубоким вырезом, высоко подтянутые брюки, из-под которых должны были виднеться носки, грубые башмаки с чудовищно толстыми шнурками. Кое-что ко мне уже пришло из колледжа, от брата, который как раз вошел в щегольской возраст. Парняга довершил падение. Едва ли есть более жалкая страсть, чем эта, для четырнадцатилетнего увальня с шиллингом в неделю на карманные расходы, не говоря уж о моем врожденном свойстве – что бы я ни надевал, все выглядит на мне словно рубище. Не могу без содрогания вспомнить свои потуги закрепить брюки повыше и мерзкую манеру смазывать волосы растительным маслом. В мою жизнь вошла новая струя – пошлость. Я успел к тому времени совершить все доступные мне грехи и глупости, но еще не бывал жертвой безвкусицы.

Вся эта изысканная одежда была лишь частью новой мудрости. Парняга слыл знатоком театра. Вскоре мы выучили все модные песенки. Вскоре мы узнали немало о модных актрисах – Лили Элси, Герти Миллар, Зене Даре. Он знал все об их личной жизни. От него мы услышали и новейшие анекдоты; когда мы их не понимали, он с готовностью разъяснял. Он вообще много чего разъяснил нам. После семестра в его обществе нам показалось, что мы состарились не на двенадцать недель, а на двенадцать лет.

Как было бы приятно и поучительно, если б все мои ошибки я мог приписать его влиянию и вывести мораль: сколько вреда причиняет мальчишеским душам болтовня распущенного молодого человека! Увы, это было бы ложью. Да, именно в то время я впервые испытал яростные муки плотского искушения, но причиной тому был возраст и намеренный отказ от помощи Бога. Парняга тут не виноват. Сами подробности полового акта я узнал за много лет до того от сверстника и был тогда слишком мал, чтобы почувствовать к ним какой-либо интерес, кроме чисто научного. Не плоть пробудил во мне Парняга (ее я пробудил сам), а интерес к миру, жажду блеска, даже славы, стремление «быть в курсе». Не он разрушил мою невинность,

но он лишил меня остатков смирения, детскости, самоотверженности, пробудил тщеславный интерес к самому себе. Я изо всех сил превращался в глупца и хама – в сноба.

Общение с Парнягой развратило мой разум, но гораздо сильнее на меня подействовали учительница танцев и «Харикл» Беккера<sup>47</sup>, который я получил в награду за прилежание. Учительница танцев была совсем не так красива, как моя кузина Дж., но оказалась первой женщиной, на которую я «смотрел с вожделием»<sup>48</sup> (она в этом, разумеется, вовсе не виновата). Любой ее жест, любая интонация могли сыграть роковую роль. В конце зимнего семестра класс украшали для праздничного бала; она подняла флаг, прижала его к лицу, произнесла: «Обожаю запахи ткани», – и я пал.

Это не было влюбленностью. В следующей главе я расскажу о своей подлинно романтической страсти. Учительница танцев пробуждала во мне только плотский голод, то была проза, а не поэзия плоти. Я смотрел на нее не как рыцарь на недоступную даму, а как турок на черкешенку, которая ему не по карману. Я очень хорошо знал, чего хочу. Говорят, что в таких случаях мальчики чувствуют себя виноватыми, но я себя виноватым не чувствовал. Надо сказать, в ту пору я бы и не стал тревожиться из-за «преступления против нравственности», лишь бы не был нарушен «закон чести» и лишь бы последствия моих поступков не пробудили во мне жалость к пострадавшим. Я так же долго учился соблюдать этические запреты, как иные люди учатся их нарушать. Вот почему мне сложно жить в этом мире – мне, обращенному язычнику среди отступников-пуритан.

Не будем строго судить Парнягу. Теперь-то я понимаю, что он просто был слишком молод, чтобы возиться с мальчишками. Он сам был еще подростком, настолько незрелым, что хвалился своей взрослостью; настолько наивным, что радовался нашей наивности. К тому же он был очень дружелюбен, и это побуждало его делиться с нами всем, что он знал. И на этом простимся с ним, как сказал бы Геродот.

Одновременно с потерей веры, невинности и простоты во мне происходило и нечто совершенно иное. Об этом я расскажу в следующей главе.

---

<sup>47</sup> Вильгельм Адольф Беккер. «Харикл: Сцены из жизни древних греков».

<sup>48</sup> Мф 5:28.

## V. Возрождение

*Итак, в нас заключен мир любви к чему-то иному, хотя мы понятия не имеем, к чему именно.*

*Траэри<sup>49</sup>*

В исторический Ренессанс я почти не верю. Чем больше я вчитываюсь в историю, тем меньше нахожу там следов некоей восторженной весны, охватившей Европу в пятнадцатом столетии. Полагаю, что энтузиазм историков происходит из иного источника: каждый из них вспоминает и привносит в историю свое личное Возрождение, изумительное пробуждение на границе отрочества. Именно возрождение, а не рождение, повторное пробуждение, а не бодрствование: хотя это нечто новое для нас, оно всегда было – мы вновь открываем то, что знали в раннем детстве и утратили подростками. Подростки живут в темных веках – не в раннем средневековье, а в темных веках плохих кратких учебников. Есть много общего в мечтах раннего детства и отрочества, но между ними, словно ничейная земля, простирается возраст мальчишества – жадный, жестокий, громогласный, скучный, когда воображение спит, а пробуждаются и почти маниакально обостряются самые низменные чувства и побуждения.

Так было и со мной. Детство и вся моя жизнь – цельное единство, а период мальчишества выпадает. Многие детские книги радуют меня и сегодня, но только под дулом пистолета я соглашусь перечитать то, что поглощал в школе у Старика или в Кэмпбелле. Пустыня, сплошная занесенная песком пустыня. Подлинная Радость, о которой я говорил в начале книги, ушла из моей жизни, ушла совсем, не оставив ни памяти о себе, ни тоски. «Зухраб» не принес мне Радости. Радость отличается от всех удовольствий, в том числе и от эстетического. Радость пронзает. Радость приносит боль. Радость дарует тоску неизлечимую.

Эта долгая зима растаяла в одно мгновение, когда я еще был в Шартре. Образ весны здесь необходим, но произошло это не постепенно, как происходит в природе: словно вся Арктика, словно тысячелетние наслоения мирского льда растаяли не за неделю, даже не за час, а в одно мгновение, и сразу же проросла трава, распустился подснежник, расцвели сады, оглушенные пением птиц, взбудораженные током освобожденных вод. Я могу совершенно точно рассказать, как это случилось, хотя не помню самой даты. Кто-то забыл в школе газету «Букмен» или литературное приложение к «Таймс», – я небрежно глянул на заголовок статьи, на картинку под ним, и в тот же миг, как сказал поэт, «небеса опрокинулись»<sup>50</sup>.

Я прочел: «Зигфрид и Сумерки богов». Я увидел одну из иллюстраций Артура Рэкема. К тому моменту я еще не слышал о Вагнере и Зигфриде и решил, что «сумерки богов» – это сумерки, в которых жили боги. Но откуда-то я знал, что это не кельтский, не лесной, вообще не земной сумрак. Я сразу ощутил их «северность», увидел огромное ясное пространство, дальние пределы Атлантики, сумрачное северное лето, далекое суровое небо... и тут же я вспомнил, что уже знал это давно-давно (так давно, что и ныне прожитые годы вроде бы ничего не прибавили к этому сроку), я вспомнил «Драпу Тегнера» и понял, что Зигфрид, кто бы он ни был, пришел из того же мира, что Бальдр и летящие к солнцу журавли. Я опрокинулся в собственное прошлое, и сердце мое пронзило воспоминание о той Радости, которую я знал, которой на многие годы лишился. Теперь я возвращался в собственную страну из изгнания и пустыни, и Сумерки богов, и моя прежняя Радость, равно недостижимые, слились в единое невыносимое желание и чувство утраты, которая тут же преобразилась в утрату самого этого

---

<sup>49</sup> Томас Траэри (1636–1674) – священник и поэт. Основное его наследие было обнаружено лишь в начале XX века, в том числе «Сотницы медитаций». Эпиграф взят из Второй медитации Первой сотницы.

<sup>50</sup> Чарльз Уильямс. «Паламед перед крещением», 77 (Из цикла «Талиессин возвращается в Логр», 1938).

переживания – едва я успел окинуть взглядом пыльный школьный класс, словно человек, приходящий в себя после обморока, в тот самый миг, когда я готов был сказать: «Вот оно!», все закончилось. И вновь я обреченно понял, что это – единственное, чего стоит желать.

Дальше все ложилось одно к одному. Отец еще раньше подарил нам граммофон. К тому времени, как я прочел слова «Зигфрид и Сумерки богов», я был уже хорошо знаком с каталогами граммофонных пластинок, но не догадывался, что записи опер, эти причудливые немецкие и итальянские названия, так важны для меня; и еще целую неделю не догадывался об этом. А потом снова получил весточку, уже другим путем. В журнале «Саундбокс» еженедельно печатали либретто великих опер и как раз тогда принялись за «Кольцо нибелунга». Я читал с упоением – теперь я узнал, кто такой Зигфрид и что такое Сумерки богов, и не удержался – сам начал писать поэму, героическую поэму по Вагнеру. Единственным образцом были отрывки, опубликованные в «Саундбоксе», и я, по неведению, читал не «Альберих», а «Олбрич»; не «Миме», а «Майм». Образцом для меня послужила «Одиссея» в переложении Поупа, и поэма начиналась с призыва к Музам (как видите, у меня смешались различные мифологии):

Сойдите на землю, о девять небесных сестер,  
Чтоб старые Рейна легенды достойно воспеть!

Четвертая песнь поэмы кончалась сценой из «Золота Рейна»<sup>51</sup>, и ничего удивительного, что этот эпос не был завершен. Но я не зря тратил время – я точно могу сказать, какую пользу принесла мне эта поэма и когда именно. Первые три ее песни (спустя столько лет я могу говорить об этом без ложной скромности) были очень неплохи для школьника. В начале четвертой песни, которую я не сумел закончить, все рассыпалось – именно в ту минуту, когда мне захотелось по-настоящему писать стихи. Покуда было достаточно не сбиваться с ритма, подбирать рифму да следовать своему сюжету, все шло хорошо. В начале четвертой песни я попытался передать свое глубокое чувство, начал искать неочевидные, таинственные слова. И потерпел поражение, утратив ясность прозы; сбился, задохнулся, смолк – но узнал, каково писать стихи.

Все это происходило до того, как я впервые услышал музыку Вагнера, хотя даже буквы его имени казались мне тогда магическим символом. «Полет валькирий» я впервые услышал в граммофонной записи в темном, тесном магазинчике покойного Идена Осборна. Сегодня над «Полетом» посмеиваются – действительно, вне контекста, как отдельный концертный номер, он может и не произвести впечатления. Но я (вслед за самим Вагнером) воспринимал «Валькирии» как часть героической драмы. До сей поры мои познания о хорошей музыке сводились к творчеству Салливана<sup>52</sup>. Теперь, когда я до безумия увлекся «Севером», «Полет» буквально потряс меня. С этой минуты все мои карманные деньги шли на пластинки Вагнера (прежде всего, конечно, «Кольцо», но и «Парсифаль», и «Лоэнгрин»); их же я выпрашивал себе в подарок. При этом мои представления о музыке в целом не изменились. «Музыка» и «музыка Вагнера» были совершенно разными понятиями, несоизмеримыми; Вагнер был не новым удовольствием, но иным родом удовольствия, если можно назвать «удовольствием» ту тревогу, тот восторг и изумление, ту «битву безымянных чувств»<sup>53</sup>.

Тем летом кузина Х. (вы ведь помните старшую дочь кузена Квартуса, темноокою Юнону, царицу Олимпа, – к этому времени она уже вышла замуж) пригласила нас на несколько недель на загородную дачу возле Дублина, в Дандраме. Там, на ее столике в гостиной, я нашел книгу, с которой все началось и которую я и не надеялся увидеть, – «Зигфрид и Сумерки богов» Артура

---

<sup>51</sup> «Золото Рейна» – опера Рихарда Вагнера, из цикла «Кольцо нибелунга».

<sup>52</sup> Артур Салливан (1842–1900) – чрезвычайно популярный композитор, в основном автор оперетт.

<sup>53</sup> Вордсворт. «Прелюдия», X, 265. Поэт описывает свое смятение, когда его родина, Англия, вступила в войну с революционной Францией, идеям которой он сочувствовал.

Рэкема. Его иллюстрации показались мне воплотившейся музыкой, и восторг мой дошел до предела. Мало о чем в жизни я мечтал так, как об этой книге, и, когда я прослышал, что есть более дешевое издание (правда, и 15 шиллингов для меня были суммой почти недостижимой), я понял, что не узнаю покоя, пока его не получу. И я получил его благодаря брату, который вошел со мной в долю – только по своей доброте, как я точно понимаю теперь да и тогда отчасти догадывался, ведь для него «Север» ничего не значил. Даже тогда мне было почти стыдно принять ту щедрость, с какой он отдал на ненужную ему книжку с картинками семь с половиной шиллингов, – а ведь сколько иных соблазнов у него было!

Хотя эта история может показаться вам неоправданно затянутой, я не смогу продолжить свой рассказ, не отметив некоторые последствия того увлечения.

Прежде всего вы должны понять, что в то время Асгард и валькирии значили для меня действительно больше, чем все остальное – чем мисс С., и учительница танцев, и надежды на стипендию. Надеюсь, вас не шокирует такое признание: они значили для меня гораздо больше, чем растущие сомнения насчет христианства. Конечно, ставить «Полет» выше христианства – греховное заблуждение, и все же я должен сказать, что «Север» казался мне важнее христианства еще и потому, что в нем было именно то, чего не хватало моей вере. Сам по себе он не подменял религию – в нем не было ни догм, ни обязательств. Но в этом моем увлечении, если я не ошибаюсь целиком и полностью, был поистине религиозный пыл, бескорыстная и самоотверженная любовь к чему-то, а не за что-то. Нас учили «воздавать хвалу Господу за величие Его», словно мы должны благодарить Его прежде всего за само Его бытие и сущность, а не за те блага, которые Он даровал нам, – и ведь так оно и есть, к этому знанию о Боге мы приходим. Такого опыта у меня не было, но я гораздо ближе подошел к нему в моих отношениях с северными богами, в которых я не верил, чем в отношениях с истинным Богом, когда верил в Него. Порой я думаю, не для того ли меня отправили обратно к ложным богам: чтобы у них научиться вере и поклонению к тому дню, когда истинный Бог вновь призовет меня к Себе. Конечно, если б не мое отступничество, я научился бы этому и раньше и лучше на том пути, который остался мне неведом. Я только хочу сказать, что в наказании, посланном нам Богом, таится милость, из каждого зла создается особое благо, и греховное заблуждение тоже приносит пользу.

Возрожденное воображение вскоре подарило мне новое чувство природы. Сперва это было чистой воды плагиатом из книг и музыки. Летом в Дандреме, катаясь на велосипеде по горам Уиклоу, я почти безотчетно искал вагнерианский пейзаж: крутой, поросший елями холм, где Миме мог встретить Зиглинду; солнечную поляну, где Зигфрид мог слушать пение птиц; ущелье, со дна которого поднимается гибкое змеиное тело Фафнира. Позже (не помню, как скоро) природа перестала быть служанкой литературы, она сама стала источником Радости. При этом, конечно, она оставалась напоминанием и воспоминанием – подлинная Радость и есть напоминание. Она – не обладание, она лишь мечта о чем-то, что сейчас слишком далеко во времени или в пространстве, что уже было или же еще только будет. Теперь природа наравне с книгами стала напоминанием, и то и другое стало напоминанием о – о чем-то. «Истинной» любви к природе, интереса ботаника или орнитолога, у меня не было и в помине. Меня интересовало ее настроение, ее смысл, и я впитывал этот смысл не только глазами, но и обонянием, и всей кожей.

После Вагнера я принялся за все, что мог добыть о скандинавской мифологии: за «Мифы скандинавов», «Мифы и легенды древних германцев», «Северные древности» Малле. Я начал обрастать знаниями. Вновь и вновь я обретал в этих книгах Радость; я еще не замечал, как эта Радость становится все реже. Я не замечал разницы между ней и чисто интеллектуальным удовлетворением, когда воссоздавал мироздание «Эдды». Если б кто-нибудь согласился учить меня древнескандинавскому языку, я бы, несомненно, стал прилежным учеником.

Произошедшая во мне перемена еще более усложняет мою задачу как автора этой книги. С той минуты в классной комнате Шартра моя внутренняя скрытая жизнь становится столь важной и в то же время столь отличной от жизни внешней, что я почти вынужден рассказывать сразу два сюжета. Внутренняя жизнь – духовная пустыня и тоска по Радости, внешняя – шум, веселье, успехи; или наоборот – обычная жизнь полна неприятностей, внутренняя – сияющей Радости. Под внутренней жизнью я имею в виду только Радость, относя к «внешней» и то, что часто называют внутренней жизнью, – большую часть чтения и все переживания, связанные с чувством пола или тщеславием, поскольку они сосредоточены на себе. С этой точки зрения даже Страна Зверей и Индия – внешнее.

Правда, Зверландии и Индии как таковых уже не существовало – в конце восемнадцатого столетия (конечно, их летоисчисления) они объединились в государство Боксен (производное прилагательное, как ни странно, не «боксенский», а «боксоианский»). Они оказались достаточно мудры, чтобы сохранить обе королевские династии, но сформировали общее законодательное собрание, Дамерфеск. Выборы были вполне демократические, но это имело гораздо меньше значения, чем, скажем, в Англии, поскольку Дамерфеск собирался то там, то сям. Оба короля созывали его то в рыбацьем поселке Данфабель (в северной Зверландии, у подножья гор), то на острове Писция, и поскольку приближенные короля узнавали место очередного сбора заранее, они и занимали все места на постоянных дворах, прежде чем известие о сессии доходило до независимого депутата, а если б такому депутату и удалось попасть туда, совет мог сразу же сняться с места. Сохранилось предание об одном члене совета, который заседал в нем лишь раз, когда, на его счастье, сессию назначили в его родном городе. Хотя собрание это и называли иногда парламентом, такое название не совсем точно: там только одна палата, где председательствовали оба короля. Правда, в тот период, который я специально изучал, реальная власть сосредотачивалась не в их руках, а в руках некоего главного чиновника, Маломастера (ударение на первом слоге). Он был премьер-министром, главным судьей и если не всегда занимал пост главнокомандующего (тут данные хроник расходятся), то, по крайней мере, состоял членом генерального штаба. Во всяком случае, когда я последний раз наведывался в Боксен, он обладал всеми перечисленными полномочиями. Порой эти полномочия захватывались узурпаторами, например, однажды Маломастером сделался человек – вернее, Лягух, – отличавшийся необузданным честолюбием. Лорд Крупн воспользовался не слишком честным преимуществом: он был опекуном обоих молодых королей и, когда они достигли совершеннолетия, сохранил нечто вроде отцовской власти над ними. Юноши порой пытались освободиться от его присмотра, но не столько в политике, сколько в своих развлечениях. Словом, лорд Крупн, огромный, громогласный, удалой (он вечно дрался на дуэли), красноречивый, напористый, импульсивный, можно сказать, воплощал собой государство. Кажется, между его отношениями с юными принцами и нашими отношениями с отцом есть некоторое сходство. Но, конечно, он не был нашим отцом, осмеянным – или ославленным – в образе лягувы. С тем же успехом нашего лорда можно принять за пророческий портрет Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны: мне попадались фотографии этого государственного деятеля, на которых сходство очевидно для каждого, кто знаком с обитателями Боксена. Этим пророчество не исчерпывалось: был у нас и наиболее упорный противник лорда Крупна, вечно досаждавший ему лейтенант флота, маленький медведь Джеймс Бар; хотите – верьте, хотите – нет, но он оказался очень похож на Джона Бетджимена<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Джон Бетджимен (1906–1984) – английский поэт, был студентом Льюиса с 1926 г.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.